

Альфонс Доде

Короли в изгнании



*Часть сборника
Сафо (сборник)*



Альфонс Доде

Короли в изгнании

Текст предоставлен издательством «Эксмо»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=167822

А.Доде Сафо: Эксмо; Москва; 2005

ISBN 5-699-11859-4

Оригинал: Alphonse Daudet, "Les Rois en exil, 1879"

Перевод:

Николай Михайлович Любимов

Аннотация

"... Вспоминая историю создания «Королей в изгнании», Доде писал, что замысел произведения зародился «в один октябрьский вечер, при созерцании развалин Тюильрийского дворца, печально обрисовывавшегося на парижском небе».

Поверженный монарх стал знамением времени, но каждый знал, что в головах многих низложенных венценосцев зреют замыслы реванша, что у них есть сторонники. Вот почему роман Доде приобретал политическую окраску, сразу же замеченную его современниками. Любопытно отметить, что остроту романа почувствовала и царская цензура, запретив в 1903 году эту книгу к распространению в России. ..."

Содержание

Альфонс Доде	4
I	6
II	11
III	13
IV	16
V	20
Короли в изгнании	23
I	23
II	35
III	49
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Альфонс Доде Короли в изгнании

Альфонс Доде



Альфонс Доде (1840 – 1897)

Имя Альфонса Доде произносят наряду с именами таких прославленных писателей-реалистов, как Бальзак, Стендаль, Флобер, Золя, Мопассан. Его произведения обогатили французскую литературу, навсегда вошли в ее золотой фонд.

Доде родился на юге, и ему присуща вся пылкость воображения южанина. Но, как бы боясь необузданности своей фантазии, он писал о том, что видел и пережил. Прочтите автобиографические признания Доде, и вы увидите, как крепко держится писатель за достоверность фактов, подсказанных ему жизнью. Бальзак и Золя подчас уподоблялись Кювье, воссоздавая из ничтожнейших деталей целое. Бальзак смело вел нас в дом банкира Тайфера, в котором сам он никогда не бывал, он рассказывал о движении шуанов, которое происходило до его рождения. Золя заставлял нас жить среди шахтеров, наблюдать нравы куртизанок, хотя его собственная жизнь проходила вдали от этих людей. Доде редко отвлекался от знакомого ему жизненного материала. Он писал с натуры. «Да, у меня не было никогда другого метода работы. Подобно тому как художники тщательно берегут свои альбомы зарисовок, где наспех набросаны силуэты, позы, ракурсы, какое-нибудь движение руки, точно так же и я вот уже тридцать лет собираю великое множество маленьких тетрадок, где наблюдения, мысли выражены иной раз лишь одной скупой строчкой, но она напечатает какой-нибудь жест, интонацию, которые впоследствии будут развернуты и расширены в соответствии с требованиями большого произведения».

История книг Доде – это история его собственной жизни. Он изображал себя в «Письмах с мельницы», в романе «Малыш». Он встречался с героями своих романов – с настоящим Набобом, настоящим Джеком, настоящим Делобелем.

Бальзак и Золя стремились охватить в своем творчестве все общество, осмыслить закономерности его развития, запечатлеть в своих произведениях жизнь разных классов, разных сословий. Исходя из этих посылок, они не ограничивались личными наблюдениями, терпеливо собирали документы о событиях, при которых никогда не присутствовали, о людях, которых никогда не видели. Какую гигантскую работу нужно было проделать Бальзаку, чтобы из разрозненных частей «Человеческой комедии» создать единое целое, какой кропотливый труд вложил Золя в создание генеалогического древа «Ругон-Маккаров»? А Доде говорил: «Если бы в моих произведениях имелось родословное древо Ругон-Маккаров, как у Золя, я бы, кажется, повесился на одной из его веток».

Доде не был «доктором социальных наук», как называл себя Бальзак, не был ученым-экспериментатором, каким хотел себя видеть в литературе Золя. У него отсутствовала целостная концепция жизни и общества, а его политические взгляды проделали лишь небольшую эволюцию от умеренного легитимизма к позициям умеренного республиканства. Доде – наблюдатель частного, но чутье подлинного реалиста не раз выводило его на дорогу больших обобщений. Об ограниченности творческих задач, которые ставил перед собой писатель, хорошо сказал однажды его младший современник Гюисманс: «Золя видит действительность в телескоп, Доде – в микроскоп, один воспроизводит ее в увеличенном, другой в уменьшенном виде». И все же Доде в чем-то дополняет таких гигантов, как Бальзак, Флобер, Золя. У него была своя манера видеть мир, подкупающий лиризм, неподражаемый, единственный в своем роде юмор. Творчество Доде – еще одно свидетельство безграничных возможностей реализма.

I

Предки Доде были крестьянами, жителями Севеннских гор. В начале восемнадцатого столетия здесь разразилось крестьянское восстание, которое под флагом протестантизма объединило широкие народные массы и нанесло серьезный удар абсолютизму. В истории Франции это восстание известно как движение «камизаров».

Гражданская война в Севеннах продолжалась почти целое столетие, и часто в одной и той же деревне жили заклятые враги – те, кто исповедовал католицизм, и те, кто оставался верен протестантизму. В начале буржуазной революции 1789 года дед Альфонса – Жак Доде – вместе с братом Клодом покинул горы и поселился в городе Ниме. Оба они были роялистами и католиками. Приверженность королю стоила жизни Клоду и едва не привела к гибели Жака. Спасшись от гильотины, простой ремесленник Жак проделал короткий путь от нищеты к богатству. Винцента Доде – одного из сыновей Жака и будущего отца Альфонса – мы застаем владельцем суконной фабрики. В 1829 году Винцент женится на дочери богатого торговца шелком Аделине Рено. В своих произведениях Доде с нежностью вспоминает эту женщину – ласковую и грустную, задумчивую и болезненную. Среди родственников Аделины достоин быть отмеченным ее дядя по имени Гильом, который во время революции бежал из Франции и через некоторое время очутился в России. Его судьба поистине фантастична. Владелец крупного магазина в Петербурге, поставщик его императорского величества, Гильом по обвинению в заговоре был сослан в Сибирь. Ему удалось бежать и добраться до границы с Китаем, но, схваченный снова, он был отправлен на каторжные работы. Гильома помиловал при восшествии на престол Александр Первый. Эта история, о которой вспоминали не раз в семье Доде, должна была запомниться и Альфонсу, рано узнавшему о России и рано познакомившемуся с ее литературой, в частности с «Записками охотника» Тургенева, прочитанными им в начале 60-х годов, вскоре после их опубликования.

Альфонс Доде родился в городе Ниме 13 мая 1840 года. Один из его старших братьев умер совсем молодым, и эта смерть произвела неизгладимое впечатление на будущего писателя. О ней он рассказал в романе «Малыш», в главе «Он умер. Молитесь за него». Другой брат – Эрнест – пережил Альфонса и написал о нем книгу. Это был известный историк, посредственный журналист и плохой романист.

Раннее детство Альфонса протекало недалеко от Нима, на фабрике, принадлежавшей отцу. Доде хорошо изобразил пустынный фабричный двор в первой главе «Малыша», двор, который его детское воображение превращало в необитаемый остров, на котором он чувствовал себя Робинзоном. То были самые счастливые и беззаботные дни его детства, и Доде нимало не подозревал, что отец его близок к полному разорению. И оно пришло, это разорение, грозное и непоправимое, после революции 1848 года. Фабрику пришлось ликвидировать, и вся семья переехала в Лион. Начались годы учения, сначала в церковной школе, затем в лионском лицее.

И Альфонс, и Эрнест в полной мере испытали на себе, что такое клеймо бедности. Дети богатых родителей встретили их враждебно, старались унижить их, сторонились общения с ними. Однако Альфонса спасали его незаурядные способности, и вскоре он понял, что не все в жизни достигается богатством. Здесь, в лицее, Альфонс Доде впервые полюбил книги и сам начал писать стихи.

Многое из того, что рассказано в романе «Малыш», происходило в действительности. Однако читатель был бы очень далек от истины, если бы отождествил Даниэля Эйсета с Альфонсом Доде. Рассказывая о том, как создавался «Малыш», Доде писал: «Как мог я, рисуя Малыша, ничего не сказать о демоническом водовороте, в который он погрузился на тринадцатом году, влекомый бурным желанием жить, растрачивать силы, оторваться от

зачерстевших горестей, от слез, душивших родителей? То была вспышка южного темперамента... Он пропускал уроки, проводил дни на реке, среди людей, сутолоки катеров, буксиров, греб под дождем, с трубкой в зубах, с бутылкой абсента или водки в кармане, ускользал от тысячи смертей». Прочитавший эти строки читатель должен почувствовать всю разницу между застенчивым и робким Даниэлем, каким он изображен в «Малыше», и юным Альфонсом, обладавшим уже в ту пору неудержимым темпераментом и энергией.

Шли годы, приближался срок окончания лицея. Дела отца вконец расстроились. Надо было думать о работе. Не окончив лицея, Эрнест уже трудился в почтовой конторе, а вскоре и Альфонс отправился учительствовать в коллеж городка Але. Ему было шестнадцать лет, когда он оказался среди маленьких сорванцов, сразу же почувствовавших его неопытность и незащитность. То была вторая жизненная школа после детства, которая еще раз напомнила ему о том, что мир не для всех устроен одинаково хорошо. Однако жизнь в коллеже продолжалась недолго. Первого ноября 1857 года Альфонс переехал в Париж, где его брат Эрнест уже работал в редакции одной из роялистских газет.

В романе «Малыш» и в книге «Тридцать лет в Париже» Доде красочно описал этот первый свой день в столице. Он испытал истинную радость оттого, что покинул Але и вновь встретился с братом. Но впереди была полная неизвестность. Началось полубогемное существование. Доде часто меняет жилища, недоедает. Однажды он провел полночи на бульварах: просто не мог заплатить за квартиру. Единственным его развлечением было посещение Латинского квартала. Здесь пестрая толпа студентов и приезжей молодежи обсуждала вопросы политики, литературы, театра. Именно тут встретил Доде Гамбетту, Жюля Валлеса, будущего писателя. Позднее Доде стал посетителем не только кафе Латинского квартала, но и литературных салонов – их было тогда несметное количество. Через год Доде удалось опубликовать свою первую книгу. Это был сборник стихов, написанных в духе Мюссе. Назывался он «Возлюбленные». К счастью для Доде, книга понравилась и публике, и критикам. О нем заговорили. Доде начинает сотрудничать в одной из наиболее популярных газет – «Фигаро». Судьба его как писателя решена. Спустя некоторое время в жизни Альфонса Доде происходит еще одно важное событие. Всесильный временщик Второй империи, председатель Законодательного корпуса, один из участников государственного переворота, приведшего к власти Наполеона Третьего, герцог де Морни предлагает ему место третьего секретаря в своей канцелярии. В течение нескольких лет оба брата занимают должности-синекеры, которые оставляют им уйму времени.

Доде продолжает писать, совершает поездки на юг: в Прованс, страну своего детства, в Алжир, куда его на несколько месяцев посылают врачи, на Корсику, где он отдыхает. Каждая такая поездка дает ему много интересных сведений, материала, заносимого в виде заметок в заветные тетради. Из Прованса он выслал свой первый рассказ из цикла «Письма с мельницы», Алжир дал ему фон для приключений Тартарена, Корсика помогла написать сцену выборов в романе «Набоб».

В 1867 году Доде женился на Юлии Аллар, молодой женщине, увлекавшейся музыкой и литературой. Юлия хорошо чувствовала искусство, писала сама и была верным помощником мужу в его литературной деятельности. «Нет ни одной страницы, которую она не просмотрела бы», – писал Доде.

Во время одной из своих поездок на юг Доде начал писать рассказы. Эти рассказы в течение всего 1865 года под псевдонимом Мари Гастон (один из псевдонимов О. Бальзака) печатались в газетах «Эвенман» и «Фигаро». Они составили сборник «Письма с мельницы» и вышли отдельным изданием в 1869 году.

«Письма с мельницы» явились первым значительным произведением Доде. Они и по сей день остаются одной из его лучших книг. Доде во всех подробностях знал жизнь Прованса, знал его природу, населяющих его людей. Сердцу художника были милы выжженные

солнцем поля, цветущие виноградники, покрытые лесами горы и даже обжигающий ветер – мистраль. Маленькие рассказы и сказки, составляющие сборник, звучат как стихотворения в прозе – столько в них внутреннего изящества, неподдельной поэзии, неповторимого аромата. То веселые и озорные, то печальные, они бесконечно разнообразны по своим темам, лишены всякой искусственности и книжности. Все эти истории Доде черпал в беседах с крестьянами, в старинных легендах и преданиях, передаваемых из поколения в поколение, в общении с природой Прованса.

Еще до опубликования «Писем с мельницы» Доде поставил в театре «Одеон» свою первую одноактную пьесу – «Последний кумир». Пьеса не отличалась художественными достоинствами, но была тепло принята публикой. Доде страстно хотел получить признание как драматический автор, и этот успех окрылил его. С 1862 года по 1869 год он ставит на сценах парижских театров свои пьесы: «Последний кумир» (1862), «С глаз долой – к сердцу ближе» (1864), «Белая гвоздика» (1865), «Старший брат» (1867), «Жертва» (1869).

Пьесы эти не затрагивают глубоких общественных проблем и по своей форме значительно уступают прозе Доде. Сценический успех их был незначителен, а некоторые потерпели полный провал.

Известный интерес представляет трехактная комедия «Жертва», в которой изображается жизнь талантливого художника, вынужденного поступить рисовальщиком на обойную фабрику. Он продает свой талант, закабальет себя из-за денег, которых не может заработать настоящим искусством. Любопытны алжирские мотивы в пьесе (она писалась одновременно с «Приключениями Тартарена»): маленький бедуин Намун, слуга художника, удивлен, что его отчитывают за кражу денег у богатого фабриканта. Как, говорит Намун, у французов воровать нельзя, а сами французы ограбили всю Африку. Пьеса любопытна и тем, что в ней содержатся зерна будущих произведений Доде: обойная фабрика станет предметом изображения в романе «Фромон младший и Рислер старший», африканец Намун позднее превратится в дагомейского мальчика Маду («Джек»), мир художников, их отношения с любовницами вновь возникают в романе «Сафо».

В 1868 году появился «Малыш», и, как рассказывает Доде, появился совершенно для него неожиданно. Доде отдыхал на юге, между Бокером и Нимом, намереваясь завершить начатую драму. Но это ему никак не удавалось. Природа Прованса невольно возвращала его к воспоминаниям детства, и он принялся писать «нечто вроде автобиографии». Случилось это в первых числах февраля 1866 года, и вплоть до второй половины марта Доде не прекращал работы над романом. Затем он уехал в Париж и вновь возвратился к «Малышу» лишь летом 1867 года. К осени книга была готова и начала печататься в газете «Пти Монитор».

«Малыш» – первый роман Доде. Автобиографическим его можно назвать лишь условно. Многие эпизоды романа, особенно во второй его части, выдуманы и не имеют никакого отношения к его автору. «Малыш, – писал Доде, – никогда не был актером... никогда не торговал фаянсом, Пьерот и Черные глаза, дама из бельэтажа и ее негритьянка, Белая кукушка – также плод воображения». К этому можно добавить, что вымышленными были литературные неудачи Даниэля, смерть Жака и многое другое. Как уже говорилось выше, и сам Даниэль Эйсет своим характером мало напоминает Альфонса Доде.

Роман «Малыш» с его достоинствами и недостатками – произведение характерное, во многом определившее последующее творчество Доде. В нем заключены некоторые идейные мотивы, которые, как мы увидим, получают свое развитие в последующих произведениях писателя.

Незадолго до падения Второй империи, в 1869 году, вышла первая часть знаменитой трилогии Доде – «Необычайные приключения Тартарена из Тараскона».

На первый взгляд книга о приключениях Тартарена примечательна прежде всего своим непревзойденным юмором, порою даже кажется, что главным ее героем является смех.

И действительно, в основе этой чудесной книги лежит народный провансальский юмор. «Провансалец любит посмеяться, – писал Доде, – смех является для него выражением всех чувств... самых страстных и самых нежных».

Однако «Тартарен» написан не только для того, чтобы порадовать читателя искрящимся провансальским юмором. За внешней развлекательностью романа скрывается много глубоких обобщений, тонких зарисовок современной действительности. Так некогда Рабле сравнил свою книгу о Гаргантюа и Пантагрюэле с причудливым и затейливым ларцом, который скрывает бесценное содержимое. «А посему, – говорил он, – раскройте мою книгу и вдумайтесь хорошенько, о чем в ней говорится. Тогда вы уразумеете, что снадобье, в ней заключенное, совсем не похоже на то, какое сулил ларец; я хочу сказать, что предметы, о которых она толкует, вовсе не так нелепы, как можно было подумать, прочитав заглавие».

У книги Доде есть много общего с книгой Рабле, и Анатоль Франс не без основания заметил, что Тартарен – такой же «народный тип, как Гаргантюа». Но есть у Доде и другой предшественник – Сервантес с его несравненным «Дон Кихотом». Только в Тартарене соединены оба героя прославленного испанца – Дон Кихот и Санчо Панса.

Доде создал тип большого общественного звучания. Вспомним, что писатель и сам к этому стремился, когда сразу же после посвящения поставил следующие слова: «Во Франции все немножко тарасконцы».

Как всегда, Доде идет от конкретных наблюдений. Через пятнадцать лет после опубликования романа он точно указал родину своего героя. Она лежит в милях пяти-шести от Тараскона. «Там, будучи еще ребенком, я видел, как чах баобаб в горшке из-под резеды... Именно там пели дуэт из „Роберта Дьявола“...»

Доде изображал действительную жизнь южного провинциального городка, мещанскую узость интересов его обитателей, которые охотятся за фуражками, играют в карты, поют забытые романсы, сплетничают, болтают, фантазируют, для которых прибытие звенинца – уже целое событие, запоминающееся на всю жизнь. Тартарен – кость от кости этих добродушных, тупых и самовлюбленных обывателей. Однако он всех их превзошел не только своим диковинным садом, где растут карликовые баобабы, пальмы, берберийские фиговые деревья, и не только редкостным оружием, развешанным на стенах его кабинета, но и своим фантазерством. Тартарену достаточно помечтать о чем-либо, чтобы желаемое принять за действительное. Он только собирался поехать в Шанхай и уже поверил, что эта поездка состоялась. Быть героем Тараскона очень удобно, так как для этого не требуется ни усилий, ни забот, ни риска. Фантазия Тартарена делала его похожим на Дон Кихота. Он проглатывал множество книг об экзотических странах, мечтал о подвигах, о геройстве. Но то был один из Тартаренов. Другой Тартарен – Тартарен Санчо Панса – любил покой, обильную еду и хорошую постель. Только тогда, когда слава «великого» человека подверглась испытанию, он решил покинуть Тараскон и отправился в Африку.

История всех приключений Тартарена могла бы остаться историей местного значения, если бы не характер Тартарена и не наблюдательность его автора.

Вторая империя благоприятствовала расцвету мещанских вкусов, пустозвонству, показной красавости. В духовной жизни страны преследовалось все передовое и свободолюбивое. Вместе с тем французский буржуа чувствовал себя при режиме Наполеона Третьего вполне удовлетворенным и спокойным за будущее. Героическая пора его жизни ушла в прошлое, и слово «революция», которое когда-то вело его на штурм Бастилии, стало бранным словом. Эта «пухнувшая на солнышке буржуазия» (выражение Золя) наслаждалась жизнью, отделяла свои дома во вкусе аристократических особняков, покупала бездарные копии знаменитых картин, угоднически выражала свою преданность императору, была падка на саморекламу. Вся ее жизнь была сплошной фальшью. Тартаренство процветало

повсеместно, и образ Тартарена становился большим социальным символом этой фальшивой жизни.

С другой стороны, в романе мы находим много примет времени, и прежде всего примет экспансионистской политики Второй империи. Тартарен устремляет свои помыслы в Шанхай, но туда же направлены и помыслы французских политиков, стремящихся колонизовать Китай. Тартарен устремляется в Алжир, но туда же устремились французские колонизаторы, нещадно грабившие эту страну. Как бы невзначай роняет Доде одну фразу за другой о положении в Алжире, но у читателя создается вполне определенное представление о жизни в этой колонии. Город Алжир разделен на два квартала – европейский и туземный. Первый ничем не отличается от французских городов, второй же остался таким, каким он был во времена Средневековья. В Алжире постоянно действуют гражданские и военные суды, колонизаторские функции которых тесно переплелись. Тартарен, видимо, наслышан о правосудии в Алжире и всерьез боится, что его расстреляют. Дело, дескать, обычное. Доде одной фразой высмеивает рассказы о «цивилизаторской миссии» французов: «Мы цивилизуем, прививая... наши пороки...» Тартарен поражен обилием военных на улицах Алжира, а позднее он узнает, что здесь полно всяких проходимцев и авантюристов. Жертвой одного из них он становится сам. По поводу белых правителей Алжира делается весьма выразительное замечание: «Для того, чтобы управлять Африкой, не нужна ни светлая голова, ни голова вообще». А о том, как происходит действительное управление этой страной, говорится: «...наверху... сидит мусью губернатор, и своей большущей дубиной бьет офицеров, офицеры в отместку бьют солдата, солдат бьет колониста, колонист бьет араба, араб бьет негра, негр бьет еврея...» Иными словами, в основе колонизаторской политики лежит власть дубины и принцип «разделяй и властвуй».

Так, казалось бы, невинный смех Доде оказывается острой политической сатирой на современную Францию.

Доде создал тип литературного героя, который намного пережил эпоху, его породившую. Тартарен вырос в определенных условиях, в определенной среде, но он необыкновенно живуч, и мы можем с ним встретиться и в наши дни. Как Дон Кихот, Тартюф, Дон Жуан и другие типические образы, прочно вошедшие в наше сознание, он выражает определенные черты человеческого характера: пустозвонство, нелепое прожектерство, фразерство.

В статье «О том, как я учился писать» М. Горький приводит в качестве примера классического использования законов типизации произведения Шарля де Костера, Ромена Роллана и Альфонса Доде с его знаменитым Тартареном из Тараскона. Да, Доде создал образ-тип, и в этом его большая победа – победа писателя-реалиста.

Приключения Тартарена из Тараскона – это только первая часть трилогии. Впоследствии Доде вновь вернется к своему герою и напишет еще две части. Тартарен – творение всей жизни писателя.

II

Доде было тридцать лет, когда началась Франко-прусская война. Патриотические чувства побудили его вступить в Национальную гвардию. Во время осады Парижа Доде стремился попасть в самые горячие, самые опасные места схваток с пруссаками. Его трогает глубокая преданность родине простых французов. Возмущаясь войной, он не может не отметить, что она сближает людей, защищающих свое отечество от вторгшегося в его пределы врага. «Разумеется, я согласен, что нет в мире ничего печальнее и нелепее, чем война. К примеру, я не знаю, что может быть томительнее, чем просидеть всю январскую ночь в окопе полевого караула, щелкая зубами, как старый волк... Но в ясный морозный вечер выйти в бой на сытый желудок и с теплым сердцем, наудачу броситься стремглав в темноту, все время чувствовать локти славных ребят, окружающих тебя, – право... это приятное опьянение...»

Вскоре наступают дни Парижской коммуны, Доде покидает Париж. Ограниченность мировоззрения и политических взглядов мешает Доде правильно оценить происходящие события. Коммуна представляется ему как результат политики демагогов, сумевших увлечь за собой нестойкие, колеблющиеся массы.

В одном из более поздних рассказов – «Монолог на борту» – Доде изображает раскаившегося коммунара. «И подумать только, – говорит тот, – что всему виною эта политика!» В очерке «Сад на улице роз» Доде встает на защиту двух предателей-генералов, расстрелянных коммунарами, видит в деятелях Коммуны «отвратительных дезертиров». Однако он полон презрения к тем, кто еще недавно, в дни Империи, превращал свою жизнь в поток непрерывных наслаждений, а теперь позорно бежит из Парижа. «О, если бы мне пришлось выбирать между бешеными коммунарами, которые взбирались на укрепления с коркой хлеба в мешке, и подобными хлыщами, без сомнения, я остался бы с коммунарами».

Даже в эти тревожные дни записные книжки Доде пополняются все новыми и новыми заметками. С наступлением мира писатель занялся их обработкой, результатом чего явились «Письма к отсутствующему» (1871), «Рассказы по понедельникам» (1873), «Робер Эльмон. Дневник отшельника» (1874).

Эти произведения свидетельствуют о новом направлении в творчестве писателя, о его возросшем интересе к социальной тематике. Прежде всего, война. Кто виноват в национальной трагедии Франции? Еще недавно Доде был баловнем Второй империи, герцога де Мори, принцессы Матильды. Теперь перед ним до конца раскрылась вся мерзость режима Наполеона Третьего, рухнувшего, как карточный домик, во время испытания войной. Еще недавно Доде кокетничал своими легитимистскими убеждениями, но какой жалкой оказалась партия легитимистов в дни грозных событий! И Доде создает «Рассказы по понедельникам», в которых как бы подводит итог своим наблюдениям во время войны.

После «Рассказов по понедельникам» и «Робера Эльмона» Доде пишет в основном романы. В это время окончательно складывается распорядок его жизни. Не отличаясь крепким здоровьем, он умело сочетает работу и отдых. Дом его поставлен на чисто буржуазный лад, в нем царит покой и согласие, в рабочем кабинете всегда образцовый порядок. Писательский труд доставляет Доде огромную радость, и, когда он уже овладел материалом, работа целиком захватывает его. Так, во время создания «Набоба» он в продолжение пяти месяцев встает в четыре часа утра, проводит время за письменным столом до восьми часов, а после часового перерыва снова садится за стол и пишет до полудня, потом с двух часов работает до шести вечера и с восьми до полуночи. Итого пятнадцать часов работы в сутки.

С 1877 года один за другим появляются романы Доде: «Фромон младший и Рислер старший» (1874), «Джек» (1876), «Набоб» (1877), «Короли в изгнании» (1879), «Нума Руместан» (1881), «Евангелистка» (1883), «Сафо» (1884), «Бессмертный» (1888), «Малень-

кий приход» (1895), «Опора семьи» (1898). В эти же годы Доде заканчивает трилогию о Тартарене: «Тартарен на Альпах» (1885), «Порт-Тараскон» (1890), пишет пьесы «Арлезианка» (1872), «Борьба за существование» (1889) и другие. И это не считая воспоминаний, рассказов, очерков, статей!

III

В семидесятые годы в творчестве А. Доде начинается новый этап, характерный значительно обострившимся интересом писателя к современным проблемам. Свой новый роман «Фромон младший и Рислер старший» он посвящает вопросам семьи и брака в буржуазном обществе. Доде хотелось бы видеть буржуазную семью здоровой и крепкой. Он доискивается причин, которые разрушают семью, и пытается объяснить ее распад случайными обстоятельствами. В среду Фромонов и Рислеров проникает молодая женщина из бедной семьи. Это Сидони Шеб – жена Вильгельма Рислера и любовница Жоржа Фромона. Доде рисует Сидони самыми темными красками. Она завистлива, эгоистична, мстительна. Однако такой ее сделала жизнь, и Доде умеет рассказать об этом. Сидони много выстрадала, познала бедность и тяжелый труд. Может быть, она и смирилась бы, если бы однажды, еще будучи девочкой, не попала в богатый дом Фромонов. С этого времени Сидони мечтает во что бы то ни стало «выбиться в люди». Красивой девушке удастся увлечь Франца Рислера, Жоржа Фромона и наконец выйти замуж за Вильгельма. Она мстит окружающим за все свои страдания и огорчения, торопится насладиться богатством, обманывает мужа и совращает Жоржа. Проникновение Сидони в семью Фромонов и Рислеров – настоящее бедствие.

Судьбы героев романа связаны с обойной фабрикой. Фабрика – это идол, которому должны служить ее владельцы, ее служащие, ее рабочие. Образец служения «делу» показывают Вильгельм Рислер, жена Жоржа Клер, кассир Сигизмунд Планюс. В момент, когда обнаруживается измена Сидони, Рислер подавляет в себе личные чувства и все силы устремляет на спасение фабрики.

Роман Доде дает основание для глубоких обобщений. В основе буржуазного брака лежит грубый материальный расчет, своекорыстный интерес. Так, свадьба Жоржа и Клер обусловлена интересами фирмы, Шебы готовы отдать Сидони замуж за любого, кто побогаче, Рислер может взять себе в жены молодую девушку, потому что он разбогател, старик Гардинуа не склонен проявлять свои родственные чувства, когда это затрагивает его материальные интересы. Собственность, деньги, материальный расчет – вот истинные причины, которые порождают трагедии в современной семье буржуа. Доде говорит об этих причинах приглушенно, но у читателя не остается сомнений, кто истинный виновник всех бедствий.

Как и в других своих произведениях, Доде описал то, что он наблюдал лично. По его собственному признанию, большинство персонажей списано с натуры, а обойная фабрика была видна из окон квартиры, в которой он одно время жил.

Имя Доде завоевывало все большую и большую популярность. После «Фромона и Рислера» он был безоговорочно отнесен к реалистической школе. Этому способствовала и его личная дружба с такими писателями-реалистами, как Эд. Гонкур, Г. Флобер, Э. Золя, И. Тургенев. С 1874 года Доде – постоянный участник «Обедов пяти», которые продолжались в течение ряда лет. С Тургеневым его познакомил Флобер, и Доде был очень рад этому знакомству, так как еще раньше читал его произведения. Тургенев поразил его своими энциклопедическими знаниями, владением многими языками, глубоким и оригинальным умом. От него Доде узнавал о жизни в России, о русских писателях, но не только о русских. Однажды Тургенев принес сочинение Гете «Прометей и Сатир» – вольтерьянскую сказку, проникнутую духом мятежа, отрицания, неверия. «Потрясенные грандиозной импровизацией, – вспоминает Доде, – мы, Гонкур, Золя, Флобер и я, слушали гениальное творение, передаваемое гением... Это не был перевод, искажающий и обесцвечивающий оригинал, сам Гете говорил с нами». «Обеды пяти» творчески обогащали каждого из писателей, принимавших в них участие.

Следующим крупным произведением Доде был роман «Джек». В этом «диккенсовском» романе с особой силой проявились противоречивые тенденции в творчестве писателя. Если в предыдущих произведениях Доде (кроме «Писем с мельницы») представители народа упоминались лишь вскользь, то в романе «Джек» народ дан крупным планом. Доде ведет читателя на окраины Парижа, на металлургический завод, в паровозную кочегарку.

Доде подробно рассказывает в своих воспоминаниях, как он познакомился с действительно существовавшим Джеком (его настоящее имя Рауль). Для тщательного изучения условий труда рабочих Доде провел долгие часы в больших мастерских на острове Инде. В изучении языка разных профессий ему помогла книга Дениса Пуло, которой пользовался и Золя во время работы над романом «Западня».

О своем романе писатель сказал: «Жесткая, мрачная, полная горечи книга. Но что это в сравнении с действительной жизнью?..»

Работу над «Набобом» Доде начал еще до того, как был написан «Джек». Роман давался ему нелегко: впервые Доде решил создать большое социальное полотно, многопланово показать Вторую империю. В канцелярии герцога де Морни Доде в самой непосредственной близости мог изучать политические кулисы наполеоновского режима. У него накопился огромный материал, он лично знал не только герцога де Мора (де Морни), но и Набоба. Он наблюдал деятельность продажных депутатов, продажных журналистов, присутствовал при комедии выборов, встречал матерых авантюристов, представителей многоликой богемы.

Брат Доде Эрнест находился около де Морни в момент его смертельной агонии, служил секретарем у Франсуа Браве, ставшего прототипом образа Набоба.

В романе Доде огромное количество действующих лиц и несколько параллельных интриг. Писатель задался целью правдиво и всесторонне описать жизнь Второй империи. «Набоб» – его несомненная удача.

Доде изобразил в «Набобе» характерные противоречия Второй империи: повсеместный обман, прикрытый показной добропорядочностью. При своем рождении Вторая империя вызвала к политической жизни самые темные, самые авантюристические силы общества.

Ко времени, когда происходит действие романа «Набоб», все эти антинародные, авантюристические элементы, как правило, приобщились к власти, приоделись, прихорошились, нахватили титулов и званий, пристроились к тепленьким местечкам. Герцог де Мора был одним из тех, кто руководил государственным переворотом и представлял всю эту пеструю массу сторонников Наполеона Третьего. С необычайным цинизмом относится он к своим обязанностям. Любовные интриги, участие в сомнительных финансовых спекуляциях, поощрение мошенников и подхалимов, меценатство по отношению к бездарным художникам и артистам – вот к чему сводится «деятельность» этого первого после императора лица в государстве. За внешним величием его облика скрывается ничтожная, низкая натура, воплотившая в себе все пороки правящей клики.

Сцены смерти и похорон де Мора символизируют разложение и близкий конец Империи. Даже причина смерти этого всемогущего министра полна глубокого смысла. Жаждающий любовных наслаждений, де Мора прибегает к возбуждающим пилюлям доктора Дженкинса, которые и сводят его в могилу. Но так же и вся Империя, одряхлевшая, разложившаяся, непрерывно подхлестывающая себя разными авантюрами, неумолимо движется к гибели.

Символична для нравов Второй империи и фигура Жансуле (Набоба). Этот «мещанин во дворянстве» вышел из бедной семьи торговца старыми гвоздями. Спекуляции в Тунисе сделали его мультимиллионером, и он приехал в Париж, чтобы купить себе признание и славу. Но Париж не Восток. Простоватый Жансуле сразу попадает в толпу опытных авантюристов и погибает в неравной борьбе с ними.

Доде не без сочувствия рисует этого человека. По сравнению с окружающими его хищниками Жансуле выглядит деревенщиной, наивным ребенком. Обманутый и покинутый всеми, кого он еще недавно оделял деньгами, Жансуле умирает, так и не добившись избрания в депутаты.

По-иному складывается судьба бывшего товарища Набоба, а ныне злейшего его врага, банкира Эмерленга. Этот «обрюзгший моллюск, прилепившийся к своему слитку золота», достигает цели и становится одним из воротил финансового Парижа.

Жансуле и Эмерленг – полуграмотные, ничтожные люди, но они приняты в свете, о них пишут в газетах, художники ваяют их скульптурные портреты, их награждают орденами, громкими титулами. И все это делают деньги, неизвестно как добытые. Бальзаковская тема денег все время звучит в «Набобе». Критика нравов Второй империи перерастает в критику всего буржуазного общества.

Вокруг этих центральных фигур разместилось множество других персонажей романа. Доктор Дженкинс, спекулирующий на медицине: это он изобрел смертоносные пилюли, которые на короткое время преображают, а затем губят человека, это ему принадлежит идея Вифлеемских яслей, где гибнут дети бедняков, подвергаемые чудовищным лженаучным экспериментам; банкир Паганетти, создающий дутый земельный банк; журналист Моэссар, продающий свое перо; маркиз и маркиза де Буа-Ландри – уже более пятнадцати лет живущие обманом и жульничеством; маркиз де Мопован, продавший свою душу герцогу де Мора. Даже слуги этих морально разложившихся господ находятся во власти мелких, нечистоплотных интриг. Здесь своя иерархия, но те же нравы, та же погоня за золотом.

Удивительной силы достигают те страницы романа, где рассказывается о смерти де Мора, о выборах на Корсике, о Вифлеемских яслях. Они стали подлинно классическими во всей реалистической литературе Франции, которая знала Бальзака и Золя, Флобера и Мопассана.

Современники Доде отмечали художественную неровность романа «Набоб», хотя и признавали за ним много достоинств.

«Набоб», – писал Альфонсу Доде И. С. Тургенев, – самый замечательный и вместе с тем самый неровный из всех написанных Вами романов. Если «Фромона и Рислера» изобразить прямой линией, то «Набоб» следовало бы изобразить так WW, и верхушки этих зигзагов доступны только таланту перворазрядному».

IV

Нынешний читатель едва ли может себе представить всю злободневность романа «Короли в изгнании» (1879) для современников А. Доде. Республика или монархия? Этот вопрос был далеко не праздным для первых читателей романа. Вплоть до 1876 года во Франции делается несколько попыток восстановить монархическую власть. В Национальном собрании половина мест принадлежит правым партиям, мечтающим о реставрации монархии. Ставленник монархистов президент Мак-Магон уходит в отставку лишь в 1879 году, и только после этого начинается упрочение республики.

Злободневность романа объяснялась также и тем, что в Европе, особенно в странах Балканского полуострова, одна за другой рушились монархии. Народные восстания, «как землетрясение» (слова А. Доде), сметали королевские династии. Сама Франция еще совсем недавно была свидетельницей крушения Второй империи. Вспоминая историю создания «Королей в изгнании», Доде писал, что замысел произведения зародился «в один октябрьский вечер, при созерцании развалин Тюильрийского дворца, печально обрисовывавшегося на парижском небе».

Поверженный монарх стал знамением времени, но каждый знал, что в головах многих низложенных венценосцев зреют замыслы реванша, что у них есть сторонники. Вот почему роман Доде приобретал политическую окраску, сразу же замеченную его современниками. Любопытно отметить, что остроту романа почувствовала и царская цензура, запретив в 1903 году эту книгу к распространению в России.

Неудивительно, что роман Доде вызвал разноречивые отклики. Его резко критиковали монархисты, но его не приняли и республиканцы. Одни – за неуважение к королевским особам, другие – за элегический тон повествования, в котором усматривалось сочувствие автора монархическим идеям. Но какими бы прекрасными чертами ни наделял Доде некоторых своих героев, он показывал их обреченность.

Уже первая сцена в романе передает весь трагикомизм положения коронованных изгнанников, попавших в Париж. С чадами и домочадцами, с чемоданами и саквояжами они занимают номера меблированных комнат. И в дальнейшем царственное величие всех этих королей, герцогов, принцев крови резко контрастирует с тем, что их окружает.

Иллирийские монархи в Париже не одиноки. Здесь живет целая толпа низложенных монархов: вестфальский король – «несчастный слепой старик», жалкая пародия на короля Лира; палермский король, который «впал в вялую безучастность»; галисийская королева, «не умерившая своей взбалмошности в Париже»; герцог Пальма, воюющий «ради денег и девочек»; принц Аксельский – знаменитость парижского дна, кутила и развратник.

Большинство этих коронованных лиц смирилось со своим положением, а некоторые из них находят даже удовлетворение в водовороте парижской жизни.

Иллирийский король Христиан II также очень быстро входит во вкус предоставленной ему свободы. Он изменяет Фредерике, тайно торгует драгоценными камнями своей короны, готов отречься от престола. Слабохарактерный и разнузданный, он дает волю своим низменным инстинктам, опускается все ниже и ниже, пока не попадает в полицию за развращение малолетних.

И только гордая, величественная королева Фредерика с удивительным достоинством переносит все страдания и унижения. Она не смирилась со своей участью, готова к борьбе и жертвам. Среди жалких остатков королевского двора она находит сторонников – князя Розена и монаха Алфея. Это фанатики и маньяки. Особая роль выпадает на долю воспитателя маленького Цары – Элизе Мери. Выходец из бедной семьи, человек, лишенный всяких средств к существованию, он весь свой талант, всю свою жизнь отдает проповеди и защите

монархических идей. Доде ярко обрисовал фигуру этого своеобразного утописта. Убежденность, преданность идее возвышают Мера над другими, но оторванность от жизни превращает его в ископаемое, в некий музейный экспонат, вызывающий лишь чувство удивления. Это Дон Кихот в современной одежде, попавший в Париж из далекого прошлого.

Кульминация всех событий романа связана с двумя обстоятельствами. В Париже есть фирма, обслуживающая иностранцев. Возглавляет ее некий Том Льюис – француз, выдающий себя за англичанина. Фирма эта – жульническое предприятие, связанное с проститутками, ворами, ростовщиками. Она подыскивает особняки для изгнанных королей, женит обедневших аристократов на богатых девицах, занимается сводничеством. У Тома Льюиса возникает «великий план» – «ловкий ход». Если Христиан отречется, то иллирийская республика выдаст ему двести миллионов франков. Надо, чтобы Христиан отрекся, а часть этих денег досталась Тому и его друзьям. Для этой цели в качестве приманки выдвигается жена Тома Шифра – расчетливое и хищное существо. Ей поручается влюбить в себя Христиана и добиться его отречения от престола. Христиан уже готов это сделать, отречение уже подписано, когда Фредерика, которую предупредил Мера, узнает о предательстве. План Тома на время срывается.

Все эти события совпадают с подготовкой к восстанию в Иллирии. Восстание должен возглавить Христиан. С ним в поход отправляются молодые отпрыски дворянских семей. Поход с самого начала представляется предприятием весьма сомнительным, срывается же он из-за хитрости Шифры. Она узнает, что Христиан выезжает на место событий поездом, и оказывается рядом с ним. Христиан выбалтывает Шифре свои планы, и это становится известным полиции. Христиан задержан, а его войско гибнет, едва достигнув берегов Иллирии. Проваливается поход, но проваливается и «ловкий ход» Тома.

Вся линия романа, связанная с Шифрой и Томом Льюисом, позволяет Доде показать парижское дно, предприимчивых авантюристов, которые порождены нравами современного капиталистического города. Но Доде вовсе не склонен объяснять случайными причинами провал замыслов Фредерики. Доде показывает, что поход в Иллирию заранее обречен на неудачу, ибо только кучка фанатиков может еще верить в возможность возрождения монархии там, где власть в свои руки взял народ.

Показав обреченность монархической идеи и трагедию ее защитников, писатель вводит в роман еще одну очень важную для него тему. Если жизнь в Париже вызвала в таких людях, как Христиан и принц Аксельский, только низменные инстинкты, то в Фредерике она пробудила человека. Несчастья преследовали ее до конца. По роковой случайности маленький Цара ранен в глаз, и ему грозит слепота. Теперь он никогда не сможет стать королем, хотя Христиан и отрекся от престола в его пользу. Это событие сокрушает Фредерику, но в ней просыпается мать, и все условности, связанные с ее положением, отступают перед большим человеческим чувством – любовью к сыну: «Бедный маленький Цара!.. Боже мой, да зачем ему царствовать!.. Только бы он был жив! Только бы он был жив!..»

Эту же человечность обретает и маленький Цара, у которого не было детства, который еще ни разу не был настоящим ребенком. Подобное же преображение происходит и с Элизе Мера. С грустью приходит он к выводу, что его проповедь монархических идей бесполезна. Но это разочарование открывает ему глаза на жизнь. В королеве он вдруг увидел женщину и глубоко ее полюбил. Чувству его не дано развиваться, так как он виноват в ранении Цары и Фредерика изгоняет его. Но это чувство согревает его в момент близкой смерти.

После заслуженного успеха «Королей в изгнании» Доде вновь обратился к современному материалу в романе «Нума Руместан» (1881). На этот раз его заинтересовала политическая жизнь Третьей республики и люди, в ней участвующие. Самый факт обращения писателя к политическим проблемам весьма примечателен. Еще недавно в «Робере Эльмоне» он декларировал свое полное презрение к политике. Он писал: «О политика, я тебя ненавижу!

Я тебя ненавижу, потому что ты груба, несправедлива, криклива, болтлива; потому что ты приносишь вред искусству и труду». Однако к восьмидесятым годам его отношение к «политике» меняется. Он живо интересуется борьбой политических партий, сближается с «умеренными» республиканцами. Он лично знает многих политических деятелей, и в частности Гамбетту, с которым познакомился еще в юношеские годы. Работа над романом облегчалась еще и тем, что Доде вновь возвращался к Провансу, делая героем произведения уроженца Апса, городка, который, по его словам, он составил «из частей Арля, Нима, Сент-Реми и Кавальона».

Жизнь Нумы Руместана показана как бы в двух планах: семейно-бытовом и политическом. Но и в личной жизни, и в политической он остается верен себе. Это неисправимый лгун, краснбай, позер, человек морально нечистоплотный, ловкий демагог. Нума обманывает жену, обманывает своих избирателей. У него нет никаких настоящих привязанностей, никаких твердых устоев. В политической области Нума двуличен, легко меняет убеждения. Но толпа идет за ним, так как верит его речам, его никогда не выполняемым обещаниям. Нума – пустоцвет. «Он думает только тогда, когда говорит». Ему ничего не стоит переменить от бонапартистов к легитимистам, от легитимистов к республиканцам.

Доде пытается объяснить многие черты Нумы Руместана его южным, провансальским происхождением. Но, как это не раз бывало в других произведениях Доде, художественная трактовка образа оказалась глубже первоначального авторского замысла. Нума Руместан – большое обобщение, образ-тип, в котором воплотились многие черты буржуазного политика, стремящегося к личной популярности и карьере. Таким и вошел Нума в сознание многих поколений читателей.

Не менее злободневным оказался и следующий роман Доде, «Евангелистка» (1883). Становление Третьей республики происходило в трудных условиях сопротивления сил реакции. Среди республиканцев не было единства. Повсюду поднимали голову крайне правые элементы. Этим обстоятельством с успехом пользовались клерикалы, оживившие свою деятельность в семидесятых и даже восьмидесятых годах. Законы о роспуске ордена иезуитов, об отстранении духовенства от участия в народном образовании вызвали наступление деятелей католической церкви и различных сектантов. Доде откликнулся на эту борьбу и написал произведение, обличающее религиозный фанатизм. Героиня романа Элина Эпсен становится жертвой своих религиозных убеждений. Она попадает под влияние секты протестантов, руководимой Жанной Отман. Эта секта обладает огромными средствами и действует безнаказанно. Даже католическая церковь не в состоянии с ней бороться. Религиозный дурман превращает Элину в безвольное, болезненное существо. Она отказывается от радостей жизни, от жениха, от всего мирского. И даже тогда, когда луч правды озаряет ее потускневшее сознание, она не в силах уйти от преследующих ее фанатиков.

В 1886 году Поль Лафарг опубликовал статью о романе Доде «Сафо», статью остроумную, хлесткую, но не во всем справедливую. Известно, что талантливый критик-марксист не всегда был прав в своих оценках, что он вульгаризировал некоторые положения Маркса, упрощая творчество крупных художников, был запальчив в пылу споров. Статья о «Сафо» не являлась исключением. Лафарг назвал роман «буржуазным» и обвинил автора в том, что тот изобразил в своем произведении «идеал дешевой любовницы», иными словами, сомкнулся в своих взглядах со взглядами буржуа на проституцию.

Роман «Сафо» (опубликован в 1884 году) не свободен от недостатков, но написан он, конечно, не для того, чтобы пикантными подробностями пощекотать нервы буржуазных бездельников. У Доде, несомненно, были весьма серьезные и гуманные намерения. Он взял один из позорнейших фактов буржуазной действительности – проституцию, для того чтобы поведать читателю об унижениях и страданиях женщин, обреченных торговать своим телом.

В разработке этой темы у Доде были выдающиеся предшественники. В 1877 году Эдмон Гонкур опубликовал роман «Девка Элиза», но большая социальная тема свелась у него к проблемам физиологии. Элиза становится на путь проституции в силу особых патологических склонностей. В 1880 году вышел роман «Нана». Золя изобразил в нем нравы Второй империи, и образ куртизанки понадобился ему как некий символ, Нана – это вся Империя, продажная и распутная. Но еще раньше, в романе «Западня», Золя показал причины проституции, связав это явление с нищетой предместий Парижа, которые поставляют на рынок живой товар.

Как психологический роман «Сафо» написан с большим мастерством. В романе нельзя пропустить ни одной подробности, ни одной детали, так существенны они для понимания психологии героев, движения их чувств, развития сюжета, так они метки и живописны.

За личной драмой мы видим драму общественную, порожденную буржуазными отношениями. Доде дает портреты потребителей живого товара, утонченных рабовладельцев, которые с помощью денег создают себе гаремы из рабынь буржуазного общества. Все эти Каудали, Ла Гурнери, Дежуа, Эдзано эгоистичны и жестоки. Они лишены элементарной человечности. Эксплуатируя несчастных женщин улицы, они легко их бросают, обрекая на нужду и страдания. К чему это приводит, рассказано в эпизоде с Дешелетом и Алисой. Брошенная своим любовником, Алиса кончает жизнь самоубийством. Правда, и Дешелет не выдерживает душевных мук и тоже кончает с собой. Пытается покончить с собой и главная героиня романа, Фанни Легран. Только некоторые из куртизанок, наиболее расторопные и удачливые, умеют урвать у своих любовников порядочный кусок богатства и тогда живут, как Роза и ее подружки, похваляясь своей известностью и своими громкими именами, прославленными в определенных кругах общества, как имена крупных поэтов или полководцев. Но это единицы. Обычно их судьба – улица, голод, преждевременная старость. Именно такую проститутку встречает однажды Госсен в небольшом ресторанчике, где он собирается написать Фанни письмо о разрыве.

История Фанни Легран трагична еще и по другой причине. Эта женщина наделена незаурядными способностями. Фанни умна, начитанна, у нее хороший голос, она музыкантша. От всего ее облика исходит подлинное обаяние. Она способна искренне любить, способна жертвовать собой. И хотя прошлая жизнь наложила на нее свой отпечаток, Фанни в духовном отношении стоит на голову выше Жана. С беспримерным мужеством она борется за свое право быть человеком, быть как все. Одна черта ее характера особенно примечательна. Фанни антибуржуазна. Она не знает цены деньгам, презирует их. В пылу гнева она называет Госсена филистером за его рабское подчинение условностям. В трудную минуту Фанни готова пожертвовать всеми своими сбережениями, чтобы выручить человека, попавшего в беду (случай с Сезером). И это сочувствие Фанни, раскрытие в ней подлинной человечности составляет главную заслугу писателя.

Госсен, безвольный, слабохарактерный юнец, погрязший в предрассудках воспитания, среды, не вызывает симпатии читателя. Но Доде колеблется, а иногда и оправдывает его поступки. Драма Госсена в представлении писателя заключается в том, что, погрузившись в порок, он рвется к чистоте и целомудрию. Истинная же драма Госсена в том, что он буржуа с головы до пят, что его попытка стать на путь добродетели – это всего лишь желание подчиниться законам буржуазного общества, построить свое будущее счастье на несчастье другого.

V

Интерес к современной жизни обогащал творчество Доде. Это легко проследить по произведениям, написанным в восьмидесятые годы. Зорче становился глаз художника, подмечавший глубокие социальные конфликты. Представления о добре и зле как извечных началах жизни существенно менялись. В романе «Малыш» все люди делились на хороших и плохих. Резкой линией разделены добрые и злые персонажи в романах «Фромон младший и Рислер старший», «Джек». Даже в «Набобе» это разграничение добра и зла очень заметно. Но в таких романах, как «Короли в изгнании», «Евангелистка», «Сафо», герои наделены сложной психологией, полны внутренних противоречий (Фредерика, генерал Розен, Элизе Мери, Элина Эпсен, Жан Госсен и другие). Конфликты, изображаемые в романах этого времени, разрешаются, как правило, драматически. На выручку Даниэлю Эйсету приходили добрые Жаки, Жерманы, Пьеротты. Рислера предупреждал добрый Планюс, Джек нашел пристанище у доброго доктора Риваля, Жуайеза спасал от неприятностей добрый де Жери. Но кто может прийти на помощь Фредерике, Элине, Фанни? Рок социальной жизни неотвратим, и каждый из этих персонажей получает свою долю страдания без надежды на то, что его выручат случайные обстоятельства, какой-нибудь добрый гений. Все это делало реализм позднего Доде более суровым.

За три года до появления «Бессмертного», одного из самых острых произведений Доде, выходит в свет роман «Тартарен на Альпах», а в 1890 году роман «Порт-Тараскон». Швейцарские приключения Тартарена общим своим тоном напоминают его приключения в Алжире. С ним случаются самые необычайные и смешные истории, из которых он всегда выходит целым и невредимым, хотя и несколько помятым. Доде неистощим в выдумках этих историй. Как и Алжир, Швейцария оказывается совсем не такой, какой представлял ее себе Тартарен. Вместо дикой, первозданной страны он находит здесь гостиницы и отели, хорошие дороги и толпы туристов. В конце концов Тартарен так привыкает к предусмотрительности дельцов, обслуживающих путешественников, что однажды, срываясь в пропасть, с полным спокойствием ожидает падения, уверенный, что здесь нет опасностей, что здесь все заранее предусмотрено. Доде сталкивает своего героя с многочисленными туристами, представляющими всю Европу – Европу богачей и бездельников. И писатель отнюдь не жалуется эту праздную публику – холодную, равнодушную, пустую. Впрочем, среди туристов Тартарен находит не совсем обычных людей. Так, ему доводится познакомиться с русскими террористами, путешествующими в Альпах. Доде не без симпатии рисует русских революционеров, которые наводили страх не только в России. Он изображает их мягкими и добросердечными людьми. Обаятельная, веселая Соня, добродушный Манилов, милый Болибин – таковы эти новые знакомые Тартарена. Но, не видя в них злодеев, кровожадных дикарей, Доде и его герой пытаются поспорить с ними. «Вот вы мне только что заявили, – говорит Тартарен, – охотники на гидр и на чудищ, на деспотов и хищников – это-де собратья... Я лично держу того мнения, что и против диких зверей надлежит пользоваться лишь узаконенным оружием...» Так и в этот роман врывается тема, которая в восьмидесятых годах волновала современников Доде.

Несколько иным предстает перед нами Тартарен в романе «Порт-Тараскон». Наиболее горячие тарасконские головы, предводительствуемые Тартареном, основывают на одном из затерявшихся островов Тихого океана колонию. На этот раз их поступками руководит не только жажда славы, но и желание обогатиться. В этой книге Доде, как и в предшествующих, много смешных историй, забавных приключений. Тарасконцы попадают в затруднительное положение, так как «ничейный» остров оказывается английским. Всем им пред-

ложено убраться оттуда в течение 24 часов, и Тартарену не остается другого выхода, как сдаться в почетный плен.

Но смешное здесь соседствует с весьма серьезным намерением автора осудить политику французского правительства, которое стремилось захватить новые колонии. Колониальная тема, поднятая Доде еще во времена Второй империи, когда он изображал Тартарена в Алжире, нашла теперь новое воплощение. И писатель касается ее на этот раз не походя, а делает главным предметом своего повествования. Добродушный Тартарен, ставший колонизатором, в первый раз терпит полное поражение, и автор не приходит к нему на помощь.

В романе «Бессмертный» Доде вновь возвращает нас в Париж. История академика Леонара Астье-Рею, которого обманул переплетчик Фаж, продававший ему поддельные автографы великих людей, вводит нас в главный храм французской науки – Академию. Словами одного из своих персонажей, честного и независимого художника Ведрина, Доде дает убийственную характеристику Французской академии, которая не создает больше никаких духовных ценностей, превратилась в некий салон, где «бессмертные», дрожа перед начальством, боятся сказать хотя бы единое вольное слово. О зависимости академиков от официальных кругов свидетельствует случай Астье-Рею, которого снимают с должности архивариуса за неосторожную фразу: «Тогда (то есть во времена Орлеанского дома), как и в настоящее время, Францию захлестнула волна демагогии».

Прославленная Французская академия, созданная еще во времена Ришелье, превратилась в скопище бездарных людей. «Скудость мыслей», «ограниченный ум» – вот что такое Астье-Рею в представлении даже собственной жены. А другие не лучше, если не хуже. Леонар смог признать свою ошибку и покончить с собой, другие же не способны и на это. Частный случай с Астье-Рею дает Доде повод бросить обвинение всей буржуазной науке, замкнувшейся в Академии. Это кризис и распад. Только за пределами официальной науки можно найти настоящие таланты и свежие мысли.

В свои последние романы писатель, используя прием Бальзака и Золя, вводит так называемых «сквозных» героев. «Короли в изгнании» заканчивались эпизодом, в котором показан доктор Бушро. Он же появляется в романе «Сафо», Колетта де Розен – одновременно персонаж «Королей в изгнании» и «Бессмертного», Поль Астье действует в «Бессмертном» и в пьесе «Борьба за существование». Этот прием свидетельствовал о стремлении художника ко все большему обобщению, и он очень пригодился ему при решении темы молодого человека конца девятнадцатого столетия. В качестве типичного представителя молодого поколения современных буржуа Доде избрал Поля Астье – сына Леонара Астье-Рею. В романе «Бессмертный» Поль предстает перед нами как преуспевающий архитектор, который, пользуясь услугами художника Ведрина, завоевывает себе незаслуженную славу. Поль Астье – законченный циник, стремящийся разбогатеть любой ценой и любыми средствами. Он грабит мать и отца, обманывает друзей, пытается с помощью выгодной женитьбы приобрести огромное состояние. У Поля обворожительная внешность и чудовищно подлая душа. Это Растиньяк современности, но Растиньяк, никогда не знавший разладов с совестью.

Об этом типе законченного, но преуспевающего негодяя М. Горький писал: «Тогда во Франции, живущей всегда быстрее всех других стран, создалась атмосфера душная и сырая, в которой, однако, очень хорошо дышалось Полю Астье и всем людям его типа, исповедовавшим прямолинейный материализм и относившимся скептически ко всему, что было идеально и призывало к переустройству жизни».

В пьесе «Борьба за существование» Поль Астье говорит: «Я шел всегда вперед, ни перед чем не останавливаясь, не оставляя места состраданию. Я продукт своего времени, а за мной следуют другие – те еще более неумолимы». Современное общество в его представлении – это те же джунгли, в которых ведется жестокая борьба за существование и в которой побеждает сильнейший. Поль Астье обращается к теории Дарвина и, так сказать, с

научной точки зрения пытается оправдать аморализм своего поведения. В буржуазных кругах делались неоднократные попытки взвалить на учение Дарвина вину за разнузданность и аморальность нового поколения буржуазной молодежи. В 1890 году Поль Лафарг отметил этот чудовищный поход против дарвинизма. В статье «Дарвинизм на французской сцене» он осудил реакционное истолкование великого учения, но в ней же он критиковал и Доде с его пьесой, считая, что и тот льет воду на мельницу антидарвиновской кампании. Но Лафарг был не прав. Словами положительного персонажа пьесы, лаборанта Антони Кассада, Доде как бы отвечает на этот упрек: «Да... закон лесов и пещер... Но, благодарение Богу, мы далеко ушли от этого... Конечно, я тут обвиняю не великого Дарвина, а лицемерных бандитов, которые ссылаются на его имя, тех людей, которые хотят из наблюдений и выводов ученого вывести закон и систематически применять его. Ничего не может быть великого без добра, без жалости, без человеческой солидарности».

Романом «Бессмертный», по существу, завершается творчество Доде, хотя в 1895 и 1898 годах (посмертно) выходят еще два его романа – «Маленький приход» и «Опора семьи». Но они не принадлежат к числу лучших.

Доде был наделен тем счастливым талантом, которому свойственно создавать образы-типы. Это требовало от него большой наблюдательности, умения художественно обобщать увиденное. Перед ним проходили вереницы людей: с иными он встречался много лет, иных видел всего лишь раз. Каждому из них был присущ свой особенный, неповторимый характер, но писатель подмечал и такие черты, которые роднили некоторых из этих людей. И тогда происходило великое чудо. На свет появлялся герой, рожденный фантазией художника, живой, осязаемый и более правдоподобный, если так можно выразиться, чем десятки людей, чем множество прототипов, существовавших в действительности. Малыш, Руместан, Тартарен – все они были плодом воображения писателя, его родными детьми, которыми он любовался и гордился. Он дал им жизнь, и они существуют вот уже более века.

Доде необыкновенно тонко чувствовал роль художественной детали. Одна какая-нибудь неповторимая черточка, им подмеченная, заменяла длиннейшие описания.

Можно удивляться и стилевому разнообразию в произведениях Доде. От лирических «Писем с мельницы» он приходит к обличительным сценам в «Набобе», от психологического анализа в «Сафо» – к памфлетной манере в романе «Бессмертный».

Среди своих современников Доде был одним из тех, кто улавливал пути нового романа. Речь идет в данном случае не о вычурности и фиглярстве декадентов и современных модернистов, а о тех писателях, которые в двадцатом веке действительно обогащали роман новыми приемами, открывали новые пути художественной выразительности.

Художественный вклад писателя во французскую литературу очень значителен. Доде удалось избежать позитивистских тенденций в своем творчестве. Черпая материал из живой действительности, опираясь всегда на свои наблюдения, Доде не был рабом фактов. Творческое воображение, большой талант давали ему возможность создавать произведения огромной жизненной правды. Не ограниченность политических взглядов Доде выступает на первое место, а его искреннее сочувствие маленькому человеку, простым людям. Прекрасно сказал об Альфонсе Доде Анатоль Франс: «Ему незнакома была злоба. Но он поднимал униженных, он воодушевлял слабых, он любил маленьких людей. Его пылкая душа была исполнена сострадания. Эта умиленная проповедь милосердия и любви отталкивает некоторых, но зато великое множество безвестных читателей восхищается его книгами, наслаждается ими, как словом Евангелия. Он был трогателен; он был народен. Бесспорно, кое-где он, в силу своей любви к людям, невольно впадает в патетику; но это не поза, он и вправду умел плакать».

А. Пузигов

Короли в изгнании (Парижский роман)

*Эдмону де Гонкуру, историографу королей и фавориток, автору
«Жермини Ласерте» и «Братьев Земганно», посвящаю этот роман из
современной жизни в знак самого искреннего восхищения.
Альфонс Доде*

I

Первый день

Фредерика спала с самого утра. То был сон беспокойный, нездоровый, в котором отражались все мытарства свергнутой и изгнанной королевы; сон, сквозь который ей все еще слышалась пальба; сон, наполненный тревогой и шумом двухмесячной осады; сон, населенный видениями, кровавыми и воинственными; сон, заставлявший ее то рыдать, то вздрагивать, то затихать. И вдруг она с ужасным чувством проснулась.

– Цара!.. Где Цара?.. – крикнула она.

Одна из служанок осторожно приблизилась к кровати и постаралась успокоить Фредерику: его королевское высочество сладко спит у себя в комнате; госпожа Леонора при нем.

– А король?

– В первом часу дня выехал в гостиничной карете.

– Один?

– Нет. Его величество взял с собой советника Босковича.

Слушая далматинский выговор горничной, звучный и твердый, напоминавший шорох волны, скользящей по гальке, королева чувствовала, как страхи ее улечиваются. И немного погодя тихий номер гостиницы, который она, прибыв на рассвете, едва разглядела, номер с его светлыми обоями, высокими зеркалами, пушистой белизной ковров с бесшумно и стремительно летающими ласточками, при опущенных шторах приобретающими сходство с крупными ночными бабочками, уже рисовался перед ней во всей своей успокоительной и роскошной банальности.

– Пять часов!.. Печа! Причеши меня скорей, скорей!.. Ай, ай, ай, что же это я так долго сплю?..

Пять часов дня – чудеснейшего из всех, какими лето 1872 года радовало парижан. Выйдя на длинный балкон гостиницы «Пирамиды», пятнадцать окон которой, задернутые розовыми тиковыми занавесками, обращены на самую красивую часть улицы Риволи, королева замерла от восторга. Внизу по широкой мостовой, заглушая стук колес плеск воды, поливавшей тротуары, непрерывная вереница экипажей мчалась к Булонскому лесу, и при взгляде на нее начинало рябить в глазах от мелькания спиц, лошадиной сбруи и светлых нарядов, трепетавших на ветру, поднимавшемся от быстрой езды. Оглядев толчею у золоченой решетки Тюильри, королева перевела восхищенный взор на сверкающую круговерть белых платьев, золотистых волос, ярких шелков, на веселье детских игр, на всю эту расфранченную и шаловливую кутерьму, в солнечные дни не утихающую вокруг террас громадного парижского сада, и наконец с наслаждением остановила его на куполе зелени, на необъятной круглой сплошной кровле из листьев, которую образовали растущие в центре сада каштаны, в этот час укрывающие под своей сенью военный оркестр и дрожащие каждым листиком от гама детворы и рева труб. При виде всеобщего оживления горечь, пере-

полнявшая сердце изгнанницы, становилась менее терпкой. Королеву окутывало блаженное тепло, мягкое, плотно облегающее, точно шелковая сетка. На щеках королевы, побледневших от лишений и бессонных ночей, заиграл румянец. «Господи, как хорошо!» – невольно подумала она.

Такое внезапное и безотчетное облегчение наступает независимо от тяжести горя. И исходит оно не от живых существ, а от разнообразия предметов, говорящих без слов. Низложенной королеве, вместе с мужем и сыном выброшенной на чужбину одним из тех народных восстаний, которые можно сравнить с землетрясениями, и притом такими, что сопровождаются разверзанием бездн, громовыми ударами, извержением вулканов; этой женщине, чей немного низкий, но все же гордый лоб прорезала морщина, казавшаяся как бы следом от одной из прекраснейших корон Европы, – этой женщине человеческое участие не могло принести утешение. Зато природа, обновленная и ликующая, представшая перед ней чудным парижским летом, хранящим в себе и тепло оранжереи, и ту приятную свежесть, которая всегда указывает на близость реки, внушала ей умиротворяющую надежду на возрождение. Нервы ее постепенно успокаивались, глаза впивались в зеленоватую даль, но вдруг изгнанница вздрогнула. Налево от нее, у входа в сад, мрачным видением высилось здание с обуглившимися стенами, с закопченными колоннами; крыша на нем обвалилась, вместо окон зияли голубые дыры, через которые открывался вид на сплошные развалины. И только у самой Сены маячил обгорелый, но почти не разрушенный павильон с почерневшими от огня балконными перилами. Вот все, что осталось от Тюильрийского дворца.

Это зрелище потрясло Фредерику: у нее было такое чувство, словно сердце ее разбилось о камни развалин. Каких-нибудь десять лет назад, да и того нет, она жила со своим мужем в Тюильрийском дворце; теперь она случайно поселилась как раз напротив его развалин, и в этой прискорбной случайности ей чудилось что-то зловещее. В Тюильри они гостили весной 1864 года. Спустя три месяца после свадьбы графиня Цара, счастливая тем, что она – молодая жена и наследная принцесса, отправилась в путешествие по дружественным странам. Все, казалось, любили ее, все так радушно ее принимали! Особенно в Тюильри: что балов, что празднеств! Она и сейчас еще словно видела их под обломками. Воображению Фредерики явились залитые светом, сверкавшие драгоценными камнями огромные великолепные галереи, бальные платья, колыхавшиеся на широких лестницах между рядами блестящих кирас, а звуки невидимого оркестра, порой доносившиеся до нее из сада, казались ей звуками оркестра Вальдтейфеля в Зале маршалов. Не тем ли горячим подвижным воздухом дышала она, танцую со своим двоюродным братом Максимилианом за неделю до его отъезда в Мексику?.. Да, все это было... Кадриль императоров и королей, королев и императриц, чье пышное соцветие и чьи торжественные лица восстановил в ее памяти этот мотив из «Прекрасной Елены»... Макс, озабоченно покусывающий свою рыжеватую бородку... Против него, рядом с Наполеоном, – Шарлотта, преобразившаяся от счастья быть императрицей... Где они сейчас, участники красивой кадрили? Кто умер, кто изгнан, кто сошел с ума. Траур за трауром! Несчастье за несчастьем! Видно, сам Бог отступился от королей!..

И тут она вспомнила все, что ей пришлось испытать после смерти старого Леопольда, надевшей на нее корону Иллирии и Далмации. Ее дочь – первый ее ребенок – умерла от одной из тех непонятных, не имеющих названия болезней, которые являются следствием истощения крови, следствием вырождения, – умерла во время коронации, так что пламя погребальных свечей сливалось с иллюминационными огнями, а в соборе ко времени отпевания еще не успели снять национальные флаги. В дальнейшем к этому великому горю, к тревоге, которую постоянно внушало ей слабое здоровье сына, примешались еще и другие печали, но их она никому не поверяла, – она таила их в самом укромном уголке женского самолюбия. Сердце народов – увы! – так же изменчиво, как и сердце королей. В один пре-

красный день Иллирия, которая прежде воздавала столько почестей своим властителям, ни с того ни с сего разлюбила их. Начались недоразумения, возникло молчаливое сопротивление, недоверие, потом ненависть, люта́я ненависть всей страны, ненависть, которая чувствовалась в воздухе, в тиши улиц, в насмешливых взглядах, в том, как дрожали от сдерживаемого бешенства склоненные головы подданных, заставляя Фредерику отшатываться от окна или забиваться в угол экипажа во время коротких прогулок. О, эти грозные крики у подножья ее замка в Любляне! Теперь, когда Фредерика смотрела на дворец французских королей, они как будто вновь раздавались у нее в ушах. Мертвенно-бледные, обезумевшие от страха министры, на последнем заседании совета молящие короля об отречении... бегство через горы, ночью, в крестьянской одежде... восставшие села, шумные, охмелевшие от свободы так же, как и города... потешные огни на вершинах... слезы умиления, несмотря на всю тяжесть переживаемой невзгоды брызнувшие из глаз Фредерики, когда в одной хижине ее сыну дали на ужин молока... внезапное решение, на которое она склонила короля, – запереться в пока еще верном Дубровнике, и там два месяца лишений и душевных мук, жизнь в осаде, под обстрелом, больной наследник, умирающий от голода, наконец, позор капитуляции, мрачный отъезд под безмолвными взглядами усталой толпы, французский корабль, уносящий их навстречу новым бедствиям, навстречу бесприютности, навстречу неизвестности, которые ждут их в изгнании, а сзади них новенький флаг Иллирийской республики, победно реюющий над развалинами королевского замка... Обо всем этом ей напомнили руины Тюильри.



– А хорош Париж, правда? – неожиданно раздался возле нее молодой веселый голос, произносивший слова в нос.

Король вынес наследника на балкон, и наследник залюбовался зеленью, кровлями и куполами церквей, заслонявшими горизонт, уличным движением, на которое падал свет прекрасного заката.

– Да, да, очень хорош, – сказал мальчуган лет пяти-шести, с резкими чертами осунувшегося личика, с совсем белыми, коротко, как после болезни, остриженными волосами, смотревший вокруг с улыбкой болезненной и милой; он был радостно изумлен тем, что не слышит более грохота пушек и что кругом царит веселье. Для него изгнание оборачивалось приятной стороной. Король тоже, должно быть, не падал духом. Он два часа гулял по бульвару и вернулся с довольным, сияющим лицом, составлявшим полную противоположность убитому виду королевы. Впрочем, они вообще были совсем не похожи друг на друга. Король был щупл и тонок, с матовым цветом лица, черными выющимися волосами, с редкими усиками, которые он то и дело крутил бледной и вялой рукой, с красивыми, хотя слегка водянистыми глазами и с каким-то детски беспомощным взглядом, невольно заставлявшим думать о нем: «Какой он молодой!» – хотя ему пошло уже на четвертый десяток. У королевы были дивные волосы того по-венециански белокурого цвета, к которому Восток словно подмешал красных и рыжих оттенков хны, и очаровательная в своей прозрачности кожа, и тем не менее настоящим мужчиной казался не король, а эта пышнотелая далматинка со строгим выражением лица и скупыми жестами. Христиан испытывал при ней то чувство связанности, то чувство известной неловкости, какое должен испытывать муж, ради которого жена проявила слишком большое самопожертвование и самоотречение. Он робко осведомился о ее здоровье, о том, как ей спалось, как она себя чувствует с дороги. Она отвечала ему неподдельным

в своей мягкости, вполне благожелательным тоном, но занимал ее мысли не он, а наследник: она дотрагивалась до его носа, щек, с беспокойством наседки следила за каждым его движением.

– Ему здесь лучше, чем там, – вполголоса произнес Христиан.

– Да, он порозовел, – согласилась королева, и в голосе ее прозвучала нотка интимности, возникавшей между супругами, только когда они говорили о ребенке.

А ребенок улыбался им обоим и ласково сталкивал их лбами – он словно понимал, что его ручки представляют собой единственно прочные узы, связывающие этих чужих друг другу людей.

Внизу, на тротуаре, подняв глаза на иллирийского короля и королеву, стояли любопытные, уже осведомленные о прибытии этой четы, которую прославила героическая оборона Дубровника, – портреты Христиана и Фредерики красовались на первых страницах иллюстрированных журналов. Постепенно толпа зевак росла, и хотя многие из них не имели ни малейшего понятия о том, почему здесь собрался народ, а все же задирали носы и глазели на изгнанников, как глазют на голубя, прогуливающегося по крыше, или на вылетевшего из клетки попугая. Прямо против гостиницы образовалось столпотворение. Взгляды, устремленные в одну точку, привлекали все новые и новые взгляды к молодой чете в дорожном платье, над которой возвышалась белокурая головка мальчика, как бы вознесенного надеждой побежденных, вознесенного их радостью от сознания, что его не убило грозой.

– Не уйти ли нам, Фредерика? – смущенный вниманием всего этого праздного люда, предложил Христиан.

Но Фредерика движением королевы, привыкшей презирать неприязнь толпы, гордо подняла голову.

– Зачем? – возразила она. – На балконе так хорошо!

– Дело в том, что... я совсем забыл... Там Розен с сыном и невесткой... Он хочет с вами повидаться.

Фамилия Розен напомнила ей о стольких важных и ценных услугах, и глаза ее повеселели.

– Герцог, милый! А я его жду... – сказала королева и перед уходом окинула улицу надменным взглядом, но в эту минуту какой-то мужчина вскочил на цоколь дворцовой решетки и сразу стал выше толпы. Вот так же было в Любляне, когда стреляли в их окно. Фредерике померещилось новое покушение, и она невольно отпрянула. Высокий лоб, сдвинутая на затылок шляпа, волосы, развевающиеся на ветру под ярким солнцем, громкий, но спокойный голос, крикнувший: «Да здравствует король!» – и покрывший гул толпы, – таково было мимолетное впечатление Фредерики от неизвестного друга, осмелившегося в республиканском Париже, у обломков Тюильри, приветствовать низложенных государей. Выражение сочувствия, которого она так давно была лишена, подействовало на королеву, как жаркий огонь в камине на прозябшего путника. Она ощутила тепло во всем теле – от кожного покрова до глубины сердца, а встреча со стариком Розеном еще усилила это благотворное чувство.

Генерал Розен, бывший начальник военной свиты короля, выехал из Иллирии три года назад, после того как король снял его с этого ответственного поста, а на его место назначил либерала, выказав таким образом явное покровительство новым идеям и ущемив тех, кто составлял тогда в Любляне партию королевы. Герцог, разумеется, был оскорблен этим поступком Христиана, который хладнокровно принес его в жертву, не выразил ни малейшего сожаления по поводу его отъезда, даже не простился с ним – с ним, победителем в сражениях под Мостаром, под Ливно, героем великих черногорских войн! Старый вояка распродавал свои замки, земли, имения, громко хлопнул дверью и, отбыв в Париж, женил здесь своего сына, а затем на протяжении долгих трех лет напрасного ожидания его возмущение

королевской неблагодарностью подогревалось тоскою по родине и скукой от безделья. Тем не менее, как только до него дошла весть о прибытии королевской четы, он, не колеблясь, поспешил к ней. И вот сейчас, вытянувшись посреди комнаты во весь свой гигантский рост, почти касаясь головой люстры, он с таким волнением ожидал милостивого приема, что было видно, как дрожат его длинные ноги пандура, как вздымается под большой орденской лентой его широкая и короткая грудь в плотно облегающем ее синем, военного покроя фраке. Только его маленькая головка, похожая на головку пустельги, три стоявших дыбом седых волоса, стальной взгляд, хищно изогнутый нос и частая сеть морщинок на лице, загрубелом в пороховом дыму, хранили спокойствие. Королю, не любившему мелодраматических сцен, было сейчас не по себе, и он, желая сгладить неловкость, взял с Розеном шуточный, дружественно-развязный тон.

– Ну вот, генерал, – подходя к Розену и протягивая ему руки, заговорил он, – вы оказались правы... Я распустил вожжи... Меня свалили в один миг!

Но тут, видя, что старый слуга хочет стать на колени, Христиан царственным движением поднял его и прижал к груди. Однако никто не мог воспрепятствовать герцогу опуститься на колени перед королевой, и почтительно-пылкое прикосновение старых усов к ее руке вызвало у Фредерики совсем особое чувство.

– Ах, милый Розен!.. Милый Розен!.. – прошептала королева и медленно закрыла глаза, чтобы не было видно ее слез.

Однако слезы, пролитые ею за последние годы, оставили след на желтоватой коже под глазами, на ее мягком, морщинистом шелке, не только слезы, но и бессонные ночи, тревога, страх – все то, что женщины прячут на самом дне души, но что все же всплывает на поверхность, подобно тому как при малейшем движении воздуха вода покрывается рябью. В одну секунду ее прекрасное лицо с правильными чертами приняло измученное, страдальческое выражение, и оно, это выражение, не укрылось от старого солдата. «Сколько ей пришлось пережить!» – глядя на нее, подумал Розен. Он был тоже взволнован и, чтобы скрыть это, быстрым движением поднялся и, обернувшись к сыну и невестке, стоявшим в другом конце комнаты, с тем же свирепым видом, с каким он, бывало, кричал на улицах Люблины: «Сабли наголо!.. В атаку на эту сволочь!..» – приказал:

– Колетта! Герберт! Подойдите и поклонитесь вашей королеве!

Князь Герберт Розен, почти такого же роста, как его отец, с лошадиной челюстью, румяными, как у младенца, щеками, и его молодая жена приблизились к Фредерике. Герберт передвигался с трудом, опираясь на палку. Восемь месяцев назад на скачках в Шантильи он сломал себе ногу и несколько ребер. Генерал не преминул заметить, что, если бы не этот несчастный случай, едва не стоивший жизни его сыну, оба они были бы в Дубровнике.

– Я бы тоже, отец, поехала с вами! – воскликнула княгиня с пафосом, который так не шел к имени Колетта, к ее маленькому носику, к шапке взбитых кудряшек, не вязался со всем ее видом – видом умной кошечки-игруньи.

Королева не могла не улыбнуться и дружелюбно протянула ей руку. Христиан, покручивая ус, рассматривал с жадным любопытством, с живым интересом любителя эту вертячую парижанку, всю в рюшах и воланах, эту хорошенькую модную птичку с длинными, переливчато блестящими перьями, чья разряженная миловидность выигрывала рядом с крупными чертами и величавой осанкой Фредерики. «Где этот чертов Герберт подцепил такую игрушечку?» – подумал было Христиан; он уже втайне завидовал своему другу детства – этой дубине с глазами навывкате, с расчесанными по-русски на прямой пробор и приглаженными волосами, с низким и узким лбом, но затем ему пришло на ум, что ведь подобный тип женщин, редкий в Иллирии, в Париже встречается на каждом шагу, и это его окончательно примирило с изгнанием. Притом оно, конечно, долго не продлится. Рес-

публика скоро надоеет иллирийцам. На чужбине ему придется пробыть месяца два-три, не больше, и эти королевские каникулы нужно провести как можно веселее.

— Знаете, генерал, — заговорил он со смехом, — мне уже предлагали купить здесь дом... Сегодня утром к нам заезжал какой-то англичанин... Обещал подыскать роскошный, заново отделанный особняк со всей обстановкой, с лошадьми, с экипажами, с бельем, серебром, с целым штатом прислуги, — подыскать в течение сорока восьми часов и в любом квартале.

— Я знаю вашего англичанина, государь: это Том Льюис, агент по обслуживанию иностранцев...

— Да, как будто... что-то в этом роде... Вы имели с ним дело?

— А как же! Том приезжает в своем кебе ко всем иностранцам, прибывающим в Париж... Однако я желаю вам, государь, чтобы дальше ваше знакомство не пошло...

То сосредоточенное внимание, с каким князь Герберт, едва заговорили о Томе Льюисе, принялся рассматривать ленты на своих открытых туфлях и полоски на шелковых чулках, а также беглый взгляд, брошенный княгиней на мужа, дали понять Христиану, что в случае надобности он вполне может обратиться к ним за справками о знаменитом дельце с Королевской улицы. А впрочем, на что ему услуги агентства Льюиса? Ни дом, ни выезд ему не нужны, — на несколько месяцев, которые им предстоит пробыть в Париже, нет смысла выбираться из гостиницы.

— Вы согласны со мной, Фредерика?

— Да, конечно, так будет благоразумнее, — ответила королева, хотя в глубине души она не разделяла ни иллюзий своего супруга, ни его пристрастия к временным пристанищам.

Но тут позволил себе поделиться своими соображениями старик Розен. Жизнь на чомоданах роняла, по его мнению, достоинство иллирийского царствующего дома. Париж сейчас полон изгнанных самодержцев. И все они живут широко. У вестфальского короля на Нейбургской улице великолепный дом с пристройкой, где помещается его канцелярия. Особняк галисийской королевы на Елисейских полях — это настоящий дворец, обставленный с царской роскошью и с царским размахом. У палермского короля дом — полная чаша в Сен-Мандэ, чуть не целый конный завод и батальон адъютантов. Какой-нибудь герцог Пальма — и тот устроил в своем домике в Пасси нечто вроде королевского двора, каждый день у него за столом пять-шесть генералов.

— Ну да, ну да... — нетерпеливо повторял Христиан. — Но тут есть разница... Они уже не уедут из Парижа. Это решено окончательно, а мы... Кроме того, друг Розен, у нас есть еще одна важная причина не покупать дворца. У нас там все отняли... Несколько сот тысяч франков у Ротшильдов в Неаполе да еще наша любимая диадема, которую госпожа Сильвис провезла в картонке из-под шляпки, — вот все, что у нас осталось... Представляете себе? Маркиза шествует в изгнание пешком, едет морем, по железной дороге, в экипаже — и не расстается со своей драгоценной картонкой. Это было до того потешно, до того потешно!..

Врожденное легкомыслие взяло в Христиане верх: он смеялся над своими злоключениями так, как если бы это было в самом деле что-то необыкновенно потешное.

Но герцогу было не до смеха.

— Ваше величество! — заговорил он в таком волнении, что задрожали все его старческие морщины. — Вы только что оказали мне честь, выразив сожаление, что так надолго отстранили меня — вашего советника и наперсника... Раз вы об этом сожалеете, то я прошу вас об одной милости: на время вашего изгнания назначьте меня снова на ту должность, какую я занимал при ваших величествах в Любляне, — назначьте меня начальником вашей гражданской и военной свиты!

— Каков честолюбец! — весело воскликнул король и ласково добавил: — Да никакой свиты более не существует, милый мой генерал!.. У королевы духовник и две горничные...

У Цары гувернантка... Я взял с собой Босковича, чтобы он вел мою корреспонденцию, и Лебо, чтобы он меня брил... Вот и все...

– В таком случае, ваше величество, у меня будет к вам еще одна просьба: не возьмете ли вы моего сына Герберта к себе в адъютанты, а здесь присутствующую княгиню – в лектрисы и фрейлины при королеве?..

– Я лично, герцог, ничего не имею против, – сказала королева и улыбнулась Коlette оборотительной улыбкой, а Коlette пришла в восторг от своего нового звания.

Король отнесся к назначению князя адъютантом не менее благосклонно, чем королева к назначению княгини фрейлиной, и князь в знак благодарности очаровательно заржал – эту привычку он усвоил в скаковых конюшнях.

– Завтра я представлю вам на подпись все три назначения, – заявил генерал тоном почтительным, однако властным, указывавшим на то, что он уже приступил к исполнению своих обязанностей.

В былое время король постоянно слышал этот голос и этот оборот речи, но только в иной, гораздо более торжественной обстановке, и сейчас на лице у короля появилось унылое, тоскливое выражение, однако он тут же утешился, взглянув на княгиню, сразу похорошевшую от радости, – так всегда преображаются женские личики с неопределенными чертами, вся прелесть которых в скользящей по ним и вечно меняющейся дымке. Вы только подумайте: она, Коlette Совадон, племянница богатого виноторговца из Берси, – и вдруг фрейлина королевы Фредерики! То-то будет разговоров в аристократических салонах на улице Варен, на улице Св. Доминика, куда брак с Гербертом Розеном открыл ей доступ в дни больших приемов, но где она все же не могла бывать запросто! Ее небогатое светское воображение уже витало при некоем фантастическом королевском дворе. Она мечтала о визитных карточках, которые она закажет, о новых туалетах, о платье иллирийских национальных цветов и о таких же лентах в гривах у лошадей... Но вдруг до нее донеслись слова короля.

– Это наш первый обед на чужбине... – говорил он Розену с полушутливой высокопарностью. – Я хочу, чтобы он прошел весело, в кругу наших друзей.

Заметив, что это неожиданное приглашение озадачило герцога, он спохватился:

– Ах да, верно, этикет, приличия!.. Черт возьми! За время осады мы от всего этого отвыкли, министру нашего двора придется ввести много преобразований... Но только я прошу начать вводить их завтра, а не сегодня.

В эту минуту метрдотель, настежь распахнув двери, возвестил их величествам, что обед подан. Княгиня с торжествующим видом встала и уже собиралась взять под руку Христиана, но тот предложил руку королеве и, не обращая внимания на гостей, повел ее в столовую. Что бы он ни говорил, а придворный церемониал, как видно, не был им погребен в казематах Дубровника.

В столовой сразу почувствовался переход от солнечного света к искусственному освещению. Несмотря на люстру, канделябры, две большие лампы, стоявшие на буфетах, в комнате было темно, – дневной свет, раньше времени грубо изгнанный отсюда, как бы накинуд, уходя, на предметы чуть колышущийся покров полумрака. Общее гнетущее впечатление усиливал обеденный стол, выбранный после долгих поисков, – искали по всей гостинице такой, который удовлетворял бы требованиям этикета, но его длина не соответствовала количеству приборов; на одном конце стола сели рядом король с королевой, а по бокам и напротив – никого. Маленькая княгиня Розен преисполнилась изумления и восторга. Она вспомнила, что на обеде в Тюильри, куда она попала незадолго до краха Империи, император и императрица чинно сидели друг против друга, будто новобрачные за свадебным обедом. «Ах да! – подумала маленькая вертушка и, решительным жестом сложив веер, положила его подле себя, рядом с перчатками. – Ведь это же законные государи, а с законными государями вы не шутите!» И тогда это подобие полупустого табльдота, напоминавшее дорогой отель на Ита-

льянской Ривьере между Монако и Сан-Ремо в начале сезона, когда туристов пока еще напечет, мгновенно преобразилось в ее глазах. А ведь та же пестрота лиц и одежд: Христиан в куртке, королева в дорожном костюме, Герберт с женой в выходных костюмах, францисканская ряса отца Алфея, духовника королевы, и тут же рядом увешанная орденами полувойенная форма генерала. Трудно себе представить что-нибудь менее внушительное. Оттедок величественности был лишь в том, как молился духовник, призывавший благословение Божие на эту первую трапезу в изгнании.

– *quae sumus sumpturi prima die in exilio...*¹ – воздевая руки, читал монах, и эти медленно произносимые слова, казалось, бесконечно удлинляли короткие каникулы короля Христиана.

– *Amen!*² – проникновенно ответил свергнутый властелин, благодаря церковной латыни как бы ощутивший наконец боль от разрыва множества уз – уз, еще не онемевших, еще трепещущих, которые волочат за собой, словно вырванные деревья – свои еще живые корни, изгнанники всех времен.

Но у этого славянина, доброжелательного и любезного, самые сильные впечатления изглаживались быстро. Как только он сел за стол, к нему сейчас же вернулись веселость и беспечность, и он принялся болтать без умолку, стараясь в угоду парижанке выговаривать по-французски как можно чище, впрочем с легким итальянским присюсюкиванием, но оно даже как-то гармонировало с его смехом. Героикомическим тоном он рассказал несколько случаев времен осады, между прочим о том, как разместился королевский двор в крепостных казематах и как странно выглядела там гувернантка наследника – маркиза Элеонора Сильвис, в пледе и в шляпке с зеленым пером. К счастью, злополучная дама обедала в комнате своего воспитанника и не могла слышать хохот, вызванный шутками короля. Затем мишенью для насмешек послужил ему Боскович со своим гербарием. По-видимому, эти дурачества нужны были королю для того, чтобы отмахнуться от тяжелых дум о своем положении. Личный советник короля Боскович, маленький человечек неопределенного возраста, бояливый и тихий, с глазами кролика, всегда глядевшими в сторону, юрист по образованию, страстно любил ботанику. В Дубровнике все суды были закрыты, и он под бомбами собирал растения в крепостных рвах: то был бессознательный героизм маньяка, который, не обращая внимания на смуту в стране, горевал только о том, что его великолепный гербарий достался либералам.

– Ты представляешь себе, мой дорогой Боскович, – поддразнивал его Христиан, – какую иллюминацию устроили они из этой уймы засушенных цветов?.. Впрочем, республика могла по бедности накроить из твоего плотного серого картона запасных шинелей для своих дружинников...

Советник смеялся вместе со всеми, но лицо у него было испуганное, и, не в силах сдержать свой детский страх, он повторял:

– *Ma che... ma che...*³

«Какой милый король!.. Какой он остроумный!.. И какие у него глаза!..» – думала между тем маленькая княгиня, к которой Христиан, чтобы уменьшить установленное церемониалом расстояние, поминутно наклонялся.

Приятно было смотреть, как она расцветает под очевидной благосклонностью царственного взора, как она играет веером, слегка вскрикивает, как на нее набегают зримые и звонкие волны смеха, и она, дрожа всем своим гибким телом, откидывается на спинку кресла. Напротив, поза королевы, ее интимный разговор с соседом, старым герцогом, – все

¹ ...которую мы вкусим в первый день изгнания... (лат.)

² Аминь! (лат.)

³ Да, но... да, но... (итал.)

указывало на то, что она не хочет принимать участие в этом бьющем через край веселье. Когда речь шла об осаде, она время от времени вставляла несколько слов, чтобы подчеркнуть храбрость короля, его стратегические познания, а затем снова обособлялась. Генерал вполголоса расспрашивал ее о придворных, о своих бывших товарищах, которым выпало на долю счастье сопровождать королевскую семью в Дубровник. Многие остались в Дубровнике навеки. Розен называл имена, а королева мрачно отвечала: «Умер!.. Умер!..» – и это печальное слово звучало похоронным звоном над недавними утратами. Однако после обеда, когда все перешли в гостиную, Фредерика оживилась. Она усадила Колетту Розен рядом с собой на диван и заговорила с той благожелательной непринужденностью, к которой она прибегала, когда ей нужно было кого-нибудь очаровать, и которая чем-то напоминала пожатие ее красивой руки с тонкими пальцами и крепкой ладонью, словно передававшее вам ее благотворную силу. Потом вдруг она встрепенулась:

– Княгиня! Пойдемте посмотрим, уснул ли Цара.

В конце длинного, служившего подсобным помещением коридора, заставленного нагроможденными один на другой ящиками и открытыми чемоданами, откуда вылезало белье и всякая всячина, где царил тот невообразимый кавардак, какой бывает в вещах у вновь прибывших, находилась комната наследника, освещенная лампой с опущенным абажуром, свет от которой доходил только до голубоватого полога над кроватью.

Сидя на сундуке, дремала служанка в белом чепце и в большом платке с розовой каемкой, без которого нельзя себе представить далматинку.

Слегка облокотившись на стол, держа на коленях открытую книгу, гувернантка сама испытывала усыпляющее действие своего чтения – она и во сне хранила тот сентиментально-романтический вид, над которым так потешался король. Приход королевы не разбудил ее. Зато наследник при первом же движении газового полога протянул кулачки и, открыв глазенки, с видом обреченного попытался приподняться. За последние месяцы он так привык вскакивать ночью и второпях одеваться, потому что все время надо было куда-то ехать, куда-то бежать, так привык видеть вокруг себя при пробуждении новые места и новые лица, что сон его утратил благодетельную цельность, перестал быть десятичасовым путешествием в страну грез, которое совершали дети, спокойно, ровно, почти неслышно дыша полуоткрытыми ротиками.

– Добрый вечер, мама! – прошептал он. – Нам опять надо бежать?

Он задал этот вопрос трогательным, покорным тоном ребенка, который страдал много, не по летам.

– Нет, нет, мой родной, теперь мы в безопасности... Спи, закрывай глазки!

– Да я очень рад!.. Я сейчас же вернусь с великаном Робистором на хрустальную гору... Мне там было так хорошо!

– Это госпожа Элеонора забивает ему головку своими сказками, – шепотом пояснила королева. – Бедный мальчик! У него такая тяжелая жизнь!.. Сказки – его единственное развлечение... А все-таки надо постараться занять его чем-нибудь другим.

Королева говорила с Колеттой, а сама, совсем как простая смертная, осторожно поправляла подушку, укладывала мальчика поудобнее, разрушая представление Колетты о том, что короли – это какие-то высшие существа... Когда же Фредерика наклонилась к сыну, чтобы поцеловать его, он сказал ей на ухо, что ему чудится то ли отдаленный гул канонады, то ли отдаленный рокот моря. Королева прислушалась: от смутного непрерывного шума по временам поскрипывали перегородки и дрожали стекла; он то наполнял собою дом снизу доверху, то затихал, потом возобновлялся, мгновенно усиливался и вновь замирал вдалеке.

– Ничего, ничего... Это, детка, Париж... Спи!..

При этих словах свергнутый с престола младенец, которому успели внушить, что Париж – надежное убежище, убаюканный городом революций, доверчиво уснул.

Вернувшись в гостиную, королева и княгиня увидели, что с королем стоя разговаривает молодая женщина, и женщина эта поражала своей величественной осанкой. Она беседовала с королем запросто, все же остальные держались на почтительном расстоянии: это свидетельствовало о том, что собеседница короля – особа важная. Королева в волнении крикнула:

– Мария!

– Фредерика!

Единый порыв нежности бросил их друг к другу в объятия. Отвечая на безмолвный вопрос жены, Герберт Розен назвал посетительницу. Это была палермская королева. Немного выше и тоньше своей иллирийской кузины, она выглядела несколько старше. Ее черные глаза, черные, гладко причесанные волосы, матовый цвет лица – все придавало ей вид итальянки, хотя родилась она при баварском дворе. Немецкого в ней было только прямизна ее рослого и плоскогрудого стана, высокомерная улыбка и что-то безвкусное, негармоничное в туалете, отличающее женщин, живущих по ту сторону Рейна. Фредерика рано осиротела и воспитывалась вместе со своей двоюродной сестрой в Мюнхене; потом жизнь разлучила их, но они не переставали горячо любить друг друга.

– Понимаешь, я не утерпела, – держа Фредерику за руки, говорила палермская королева. – Чекко все не возвращался... Я отправилась одна... Я не могла больше ждать!.. Я так часто вспоминала тебя, всех вас!.. Я в Венсене, а бессонными ночами мне чудится, будто я слышу, как грохочут пушки в Дубровнике...

– Это был только отголосок бомбардировки Казерты, – прервал ее Христиан, намекая на то, как мужественно держала себя несколько лет назад эта королева, низвергнутая и изгнанная, как и они.

Мария вздохнула.

– Ах да, Казерта!.. Тогда нас тоже все бросили на произвол судьбы... Как это печально! Казалось бы, все венценосцы должны быть заодно... Ну, а теперь уж ничего не поделаешь... Мир сошел с ума... – Затем она обратилась к Христиану: – Как бы то ни было, я поздравляю вас, кузен: вы пали, как подобает королю.

– О нет! Настоящий король не я, а... – начал было Христиан, указывая на Фредерику.

Фредерика жестом дала ему понять, чтобы он умолк... Христиан поклонился ей с усмешкой и сделал пируэт.

– Пойдем покурим, Герберт! – сказал он своему адъютанту.

И оба вышли на балкон.

День только что померк, растворился в голубом свечении газа, и его сменил теплый, чудесный вечер. Темный лес тюильрийских каштанов все вокруг себя опахивал веером и уярчал сияние звезд. Благодаря этому неиссякаемому источнику свежести, благодаря тому, что в нем было где растечься шуму толпы, улица Риволи казалась менее душной, чем другие улицы летнего Парижа. И, однако, здесь все время чувствовалось неустанное стремление Парижа к Елисейским полям, к концертам на открытой сцене, под снопами света. Радость жизни, зимою скрывающаяся за плотными занавесками на закрытых окнах, теперь смеялась, резвилась, пела на воле, в шляпке с цветами, в развевающейся мантилье, в холщовом плаще с вырезом, благодаря которому уличный фонарь мог на мгновение выхватить из мрака белую шею, на ней черную бархотку. Кафе выплескивали на тротуары звон монет, оклики и звяканье стаканов.

– Париж – необыкновенный город, – пуская дым в темноту, говорил бывший иллирийский король Христиан. – Здесь даже воздух какой-то особенный... Он опьяняет, он животворит... Как подумаешь, что в Любляне в эту пору все уже заперто, все спит, все погрузилось во тьму... – И вдруг перешел на веселый тон: – Послушайте, господин адъютант: надеюсь, я буду приобщен к парижским развлечениям?.. У меня такое впечатление, что ты уже все познал и всего вкусил...

– А как же, ваше величество!.. – подтвердил Герберт и польщенно заржал. – В клубе, в Опере – всюду меня зовут Королем золотой молодежи.

В то время как Герберт растолковывал по просьбе Христиана смысл этого нового выражения, королевы, чтобы им никто не мешал, уединились в комнате Фредерики и там принялись изливать душу в подробных рассказах, в горестных признаниях, и шепот их признаний был слышен сквозь приотворенные жалюзи. А в гостиной беседовали о. Алфей со старым герцогом – и тоже вполголоса.

– Он совершенно прав, – говорил капеллан, – король, настоящий король – это она... Если б вы видели, как она верхом на коне днем и ночью объезжала аванпосты!.. Форт Святого Ангела находился под ураганным огнем, так она, чтобы придать бодрости солдатам, дважды с гордо поднятой головою, одной рукой придерживая амазонку, а в другой зажав хлыст, проехала по валу, как по аллее парка... Надо было видеть наших моряков, когда она сошла с коня!.. А он в это время таскался бог знает где... Он храбр, этого у него не отнимешь, не менее храбр, чем она, но у него нет путеводной звезды, нет веры... А вера, ваша светлость, необходима как для того, чтобы сподобиться вечного блаженства, так и для того, чтобы удержать на голове корону!

Монах воодушевился, он даже казался теперь выше ростом, чему способствовала длинная ряса. Розен счел нужным успокоить его:

– Тише, отец Алфей!.. Отец Алфей, полно, полно!..

Он боялся, что их услышит Колетта.

А Колетту между тем оставили на растерзание советнику Босковичу, занимавшему ее разговором о растениях, сыпавшему научными названиями и рассказывавшему во всех подробностях о своих ботанических экскурсиях. Вся его речь пропахла сухой травой и той пылью, какая поднимается, когда где-нибудь в усадьбе переставляют старые книги. Но, должно быть, так неотразимо обаяние величия, самый воздух вокруг него так сильно и так приятно кружит головы иным мелким натурам, вбирающим его в себя с наслаждением, что молодая княгиня Колетта, царица балов *high-lif'a*⁴, скачек и театральных премьер, одна из тех, кто составлял авангард веселящегося Парижа, улыбалась своей самой очаровательной улыбкой, слушая пресную лекцию Босковича. Ей достаточно было подумать о том, что за балконной дверью разговаривает король, что в соседней комнате поверяют друг другу тайны две королевы, и заурядная гостиная с ее номерной обстановкой, с которой никак не сливалась элегантность княгини, тотчас же наполнялась благоуханием царственности, того безрадостного величия, от которого так грустно становится на душе в обширных залах Версаля, где блеск натертого паркета соперничает с блеском зеркал. Вне себя от восторга, княгиня могла бы просидеть тут, не шевелясь, до полуночи – и не соскучиться; она только была слегка заинтригована длительной беседой Христиана с ее мужем. Какие важные вопросы обсуждали они? Быть может, какой-нибудь широкий план восстановления монархии? Ее любопытство еще усилилось, когда они снова появились в гостиной, – у обоих от возбуждения блестели глаза, взоры были исполнены решимости.

– Я уйду с государем, – тихо сказал ей Герберт. – Вас проводит отец.

Вслед за мужем к ней подошел король:

– Не сердитесь на меня, княгиня!.. Ваш супруг уже приступил к исполнению своих обязанностей.

– Каждое мгновение нашей жизни принадлежит вашим величествам, – ответила молодая женщина – она была уверена, что речь идет о каком-нибудь неотложном, таинственном деле, быть может, о первой встрече заговорщиков. Ах, если бы и ей можно было присутствовать!..

⁴ Высшего света (англ.).

Христиан направился к комнате королевы, но у дверей остановился.

– Там плачут... Слуга покорный, я туда не ходок, – сказал он, обернувшись к Герберту.

На улице Христиану сразу стало легко и весело; сделав затяжку из папиросы, которую он закурил еще в вестибюле, он взял своего адъютанта под руку.

– Ты не можешь себе представить, как хорошо идти без свиты, идти в толпе вместе со всеми, быть господином своих слов, своих движений, иметь право оглянуться на девушку, не боясь, что от этого Европа провалится... Вот в чем преимущество изгнания... Когда я приезжал сюда восемь лет назад, я видел Париж из окон Тюильри или из-за стекол роскошных карет... Теперь я хочу узнать все, побывать везде. А, черт! Что же это я?... Иду себе, иду, – совсем забыл, что ведь ты же хромаешь, бедный мой Герберт!.. погоди, мы сейчас возьмем фиакр.

Князь воспротивился: нога у него не болит, он отлично дойдет пешком. Христиан, однако, настаивал:

– Нет, нет, я не допущу, чтобы мой вожатый пал на ногу в первый же вечер.

К площади Согласия двигался извозчик, терзая слух скрипом ослабевших рессор и щелканьем бича, то и дело опускавшегося на костлявую спину лошади; Христиан ловко вскочил, расположился на сиденье, обтянутом старым синим сукном, и, радуясь, как ребенок, потер себе руки.

– Куда прикажете, государь мой? – осведомился извозчик, не подозревая, что нечаянно попал в точку.

На это ему бывший иллирийский король Христиан торжествующим тоном школьника, вырвавшегося на волю, ответил:

– В Мабиль!

II Роялист

Два монаха, пояса и круглые капюшоны коих указывали на принадлежность к францисканскому ордену, с бритыми голыми головами, шли быстрым шагом вниз по гористой улице Мсье-ле-Пренс, под мелким, однако упорным декабрьским дождем, усеивавшим иглами коричневую шерсть их ряс. В перестраивающемся Латинском квартале, среди зияющих проломов, в которые вместе с пылью от сносимых зданий улетучивается своеобразие старого Парижа и даже самая память о нем, улица Мсье-ле-Пренс сохраняет свое обличье улицы школяров. Развалы букинистических книг чередуются здесь до самого холма Св. Женеьевы с молочными, закусочными, с лавками ветошников, с «покупкой и продажей золота и серебра», и в любое время дня меряют ее шагами студенты, но это уже не студенты Гаварни с длинными волосами, выбивающимися из-под шерстяных беретов, – это всё будущие адвокаты, запахнувшие в свои ульстеры, в перчатках, с громадными сафьяновыми портфелями под мышкой, вылощенные и выхоленные, уже с этих пор приучившие себя смотреть вокруг пронизывающим и холодным взглядом деловых людей, или же подающие надежды медики, несколько более развязные, у которых занятия практические, наблюдения над больными пробудили жажду чувственных наслаждений как противоядие от слишком близкого знакомства со смертью.

В этот ранний час девицы с припухшими от бессонных ночей глазами, с волосами, небрежно убранными в сетку, в капотах и ночных туфлях перебежали улицу, чтобы купить себе на завтрак молока: одни – хохоча и подпрыгивая под дождем с крупой, другие – напротив, с большим достоинством покачивая жестяными бидонами и с величавым бесстрашием сказочных королей щеголяя в обносках и в опорках. А так как, несмотря на ульстеры и сафьяновые портфели, в двадцать лет сердца у всех одинаковые, то студенты улыбались красоткам:

– А, это ты, Леа?

– Здравствуй, Клеманс!

Переговаривались через улицу, назначали вечером свидания в кафе «Медичи» или же «Людовик XIII». Но в ответ на какую-нибудь любезность, слишком вольную или же превратно истолкованную, озадаченная девица неожиданно изливала свой гнев, причем всегда в одних и тех же выражениях:

– Пошел прочь, нахал!

Казалось бы, два чернеца должны были ежиться при столкновении с молодежью, которая оборачивалась и, посмеиваясь, глядела им вслед, – впрочем, посмеиваясь украдкой, ибо у одного из францисканцев, худого, черного и сухого, точно стручок, из-под кустистых бровей глядели страшные, как у пирата, глаза, а его ряса, которую пояс стягивал до того, что на ней вздулись широкие складки, обрисовывала могучую спину атлета. Однако ни он, ни его спутник не замечали того, что делается на улице, – отряхая с себя его суету, они шли уторопленным шагом, глядя перед собой неподвижным, ушедшим внутрь взглядом, и помышляли, видимо, только о цели своего путешествия. Не доходя до широкой лестницы, спускающейся к Медицинскому институту, старший сделал другому знак:

– Здесь.

Это были дешевые «меблированные комнаты», куда вела зеленая калитка с колокольчиком, зажатая между газетным киоском, пестревшим брошюрами, нотами песенок по два су, цветными картинками, на которых нелепая шляпа Базиля принимала самые разнообразные положения, и пивной в подвальном этаже, носившей обозначенное на вывеске название

«Пивная Риальто», вернее всего, потому, что прислуживавшие там девушки носили венецианские наколки.

– Господин Элизе не отлучился? – проходя на второй этаж мимо конторы, спросил один из святых отцов.

Толстая женщина, которая, должно быть, вдоволь намыкалась по чужим мебелирашкам, прежде чем открыть свои собственные, лениво ответила, не вставая со стула и даже не поглядев на унылую шеренгу ключей, висевших в ящике:

– Отлучился, этакую рань!.. Вы бы лучше спросили, давно ли он возвратился!..

Но тут взгляд ее скользнул по грубошерстным рясам, и она сразу переменила тон. В крайнем замешательстве она принялась объяснять, как найти Элизе Мери:

– Шестой этаж, в конце коридора, тридцать шестой номер.

Францисканцы долго поднимались, блуждали по узким коридорам, заваленным грязными башмаками и туфлями на высоких каблуках, то серыми, то коричневыми, то какого-то немыслимого фасона, то нарядными, то нищенскими, – по ним можно было составить себе полное представление о нраве того или иного жильца и жилища. Но монахи, задевая обувь грубыми подолами ряс и крестами длинных четок, не обращали на нее внимания и слегка оторопели лишь при встрече с хорошенькой девушкой в красной нижней юбке и мужском пальто внакидку, с голой шеей и голыми руками; перегнувшись через перила на площадке четвертого этажа, она что-то крикнула коридорному хриплым голосом, с хриплым смехом излетавшим из ее в высшей степени вульгарного рта. Монахи многозначительно переглянулись.

– Если он правда таков, как вы о нем говорите, то странную же выбрал он себе компанию, – прошептал корсар, выговор которого обличал в нем иностранца.

Другой, постарше, с умным и тонким лицом, улыбнулся вкрадчивой, лукаво-снисходительной улыбкой священнослужителя.

– Апостол Павел среди язычников! – прошептал он в ответ.

На шестом этаже монахи снова пришли в недоумение: под низким и темным-претемным сводчатым потолком едва можно было различить номера и карточки, оповещавшие только о том, что здесь, мол, проживает некая «мадемуазель Алиса», без указания профессии – указания, впрочем, совершенно лишнего, так как жилища этих мебелированных комнат занимались одним и тем же ремеслом. Теперь войдите в положение честных отцов: хоть стучись наудачу к любой из них!

– Ах, будь он неладен, надо его окликнуть! – сказал чернобровый монах и тут же на весь дом по-военному зычным голосом выкрикнул имя «господина Мери». В ответ из комнаты в глубине коридора послышался не менее мощный и не менее раскатистый бас. Когда монахи отворили дверь, тот же голос радостно приветствовал их:

– А, это вы, отец Мельхиор!.. Мне не везет!.. Я думал, это денежное письмо... Входите же, входите, ваши преподобия, гостями будете!.. Присаживайтесь, если только найдете куда.

В самом деле: все сиденья были погребены под горами книг, газет и журналов, принаряжавших и прикрывавших убогую обстановку мебелирашек восемнадцатого разряда с их облезлым полом, продавленным диваном, неизбежным письменным столом стиля ампира и тремя стульями, бархат на которых давно порыжел. На кровати, на сбившемся тонком коричневом одеяле вперемешку с оттисками и кипами корректур, которые постоялец, еще лежа в постели, все исчеркал красным карандашом, валялось платье. Этот жалкий рабочий кабинет с нетопленным камином, с пыльной наготою стен освещался отблеском хмурого неба на мокрой черепице соседних крыш. Отсвет, падавший на высокий лоб, на широкое нервное лицо хозяина, подчеркивал его умное и печальное выражение – лица с таким выражением можно встретить только в Париже.

– Как видите, отец Мельхиор, я все в своей конуре!.. Ничего не поделаешь! Я поселился здесь восемнадцать лет тому назад, как только приехал в Париж. С тех пор я отсюда никуда... Сколько замыслов, сколько надежд погребено в каждом углу этой комнаты!.. Сколько идей!.. Я вновь обнаруживаю их под густым слоем пыли... Я убежден, что, если когда-нибудь мне придется покинуть эту каморку, лучшее, что есть во мне, будет по-прежнему жить здесь... Ведь я даже оставил ее за собой, когда уезжал туда...

– Да, кстати, что же ваше путешествие? – спросил о. Мельхиор, чуть заметно подмигнув своему спутнику. – Я думал, вы туда надолго... Что случилось? Должность не подошла?

– Ну нет! Что касается должности, то лучшего и желать нельзя, – тряхнув гривой, ответил Меро. – Жалованье полномочного посла, комната во дворце, лошади, экипажи, слуги... Все было со мной очень мило: император, императрица, великие князья... А все-таки я скучал. Мне не хватало Парижа, особенно Латинского квартала, воздуха, которым здесь дышишь, – легкого, звонкого, молодого... Не хватало галереи Одеона, только что вышедшей книги, которую бегло перелистываешь стоя... Охоты за редкими книгами, наваленными вдоль набережных в виде крепостного вала, защищающего учащийся Париж от суетности и эгоизма другого Парижа... Но это еще не все, – тут в голосе Меро зазвучала суровая нотка, – вам известны мои воззрения, отец Мельхиор. Вы знаете, на что я рассчитывал, поступая на службу. Я хотел сделать из этого маленького существа короля, настоящего короля, каких теперь уже нет; хотел воспитать, вылепить, вычеканить из него человека, который был бы достоин своего великого назначения, а то ведь оно чаще всего оказывается не по силам властителю, оно подавляет его, подобно средневековым доспехам в старинных оружейных палатах, где они служат безмолвным укором нашему узкоплечему и узкогрудому поколению... И что же вы думаете, милейший? Кого я нашел при дворе***?.. Либералов, реформаторов, поборников прогресса и новых идей... отвратительных буржуа, не понимающих, что раз монархия обречена на гибель, то пусть лучше она погибнет сражаясь, накрытая своим знаменем, чем испустит дух на кресле для недвижимых, которое катит парламент... После первого же моего урока во дворце завопили: «Откуда он взялся? Что здесь нужно этому варвару?» Всячески подслащивая пилюлю, меня попросили придерживаться основ педагогики... Репетитор, знай свое место!.. Как только я в этом убедился, так сейчас же за шляпу: «Прощайте, ваши величества!..»

Он говорил это во весь свой мощный голос, по металлическим струнам которого ударял его южный выговор, и лицо его преображалось на глазах. Голова, в состоянии покоя казавшаяся огромной и уродливой, высокий выпуклый лоб, неукротимый беспорядок курчавых волос, черноту которых оттеняла широкая седая прядь, толстый нос с горбинкой, резко очерченный рот без малейшего намека на растительность вокруг, ибо на коже у Меро, как на вулканической почве, были выжжены пространства, трещины, бесплодные пустыни, – все это чудом оживлял порыв страсти. Представьте себе разрыв покрова; внезапно отдернутую черную занавеску, за которой весело и жарко пылает огонь в очаге; вспышку красноречия, загорающегося сперва в углах глаз, в крыльях носа, в углах рта, а затем растекающегося вместе с кровью, которая вдруг прихлынет от сердца к лицу, поблекшему от постоянного душевного напряжения и от бессонных ночей. Так на земле Лангедока, родины Меро, на земле голой, неплодородной, того серого цвета, какой принимают запыленные маслины, при многоцветном закате беспощадного южного солнца пленяют взор дивные пылания с волшебной набегающей на них тенью, – это как бы угасание солнечного луча, медленное и постепенное умирание радуги.

– Так, значит, вам опротивела пышность? – спросил старый монах, глухой и вкрадчивый голос которого являл собою полнейшую противоположность громогласию Меро.

– Да!.. – твердо заявил тот.

– Однако король королю рознь... Я знаю такого, которому ваши идеи...

– Нет, нет, отец Мельхиор... Все кончено. Я не желаю вторично проделывать опыт... А то как бы мне от близкого соприкосновения с коронованными особами не растерять всей своей верноподданности...

После некоторого молчания находчивый инок переменял разговор, а затем вернулся к этой теме, но уже другим путем:

– Ваша полугодовая отлучка, верно, недешево вам обошлась, Меро?

– Нет, ничего... Во-первых, мне не изменил дядюшка Совадон... Вы его знаете: богат из Берси... Он бывает у своей племянницы княгини Розен, а там всегда много народу, ему хочется принять участие в общем разговоре, и он попросил меня три раза в неделю снабжать его, как он выражается, «взглядами на вещи». Он славный малый, он поистине очарователен в своем простодушии и доверчивости: «Господин Меро! Что я должен думать вот об этой книге?» – «Что это дрянь». – «А мне показалось... я слышал на днях разговор у княгини...» – «Если у вас есть на этот счет мнение, то мне нечего больше у вас делать». – «Что вы, что вы, мой друг!.. Вы прекрасно знаете, что мнения-то как раз у меня и нет...» В самом деле, мнения у него ни о чем нет никакого; что бы я ему ни внушал, он все принимает на веру... Я – его мыслительный аппарат... Пока я был в отъезде, он молчал – за отсутствием идей... А когда я вернулся, как же он на меня набросился!.. Еще есть у меня два валаха – им я даю уроки государственного права... Потом у меня всегда кое-что в работе... Скоро, например, я выпущу «Мемориал об осаде Дубровника на основании подлинных документов»... Собственно, моего там почти ничего нет... за исключением последней главы, которой я в общем доволен... У меня есть корректурные листы. Хотите, прочту?.. Я назвал эту главу «Европа без королей»!

Пока он, все более и более воодушевляясь, волнуясь до слез, читал свой роялистский трактат, пробуждение меблированных комнат ознаменовывалось молодым смехом, весельем тайных встреч, и этот смех и веселье сливались со стуком тарелок и звоном стаканов, с деревянным звуком старого расстроенного фортепьяно, на котором играли какую-то кабацкую песенку. Этот разительный контраст францисканцы почти не улавливали – они упивались могучим, безудержным славословием единовластию; особенно высокий: он весь дрожал, притопывал ногами и подавлял в себе изъявления восторга, с такой силой сдавливая руками грудь, точно хотел сломать себе грудную клетку. Когда чтение кончилось, он поднялся и зашагал по комнате, и тут напор слов и движений прорвал наконец плотину:

– Да, да, вот именно... Совершенно верно... Право божественное, законное, неограниченное (он выговаривал: «бозественное», «неограниченное»)... Долой парламенты!.. Долой адвокатов!.. Сжечь всю эту клику!

И глаза его метали искры и горели, точно костры Санта Эрмандад. О. Мельхиор в более спокойных выражениях хвалил автора.

– Надеюсь, на этой книге вы поставите свое имя?

– Нет, и на этот раз не поставлю... Вы прекрасно знаете, отец Мельхиор, что мои идеи мне дороже славы... За книгу мне заплатят: дядюшка Совадон неожиданно-негаданно дал мне возможность заработать, но я с не меньшим удовольствием написал бы ее и даром. Это моя отрада – составлять летопись последних дней королевской власти, прислушиваться к слабющему дыханию старого мира, который сражается и умирает вместе с гибнущей монархией... По крайней мере вот король, который всем подал пример, как можно и в падении не утратить величия... Христиан – герой... В этом дневнике есть рассказ о том, как он под бомбами совершал прогулку в форт Святого Ангела... Вот это, я понимаю, смелость!..

Один из отцов опустил глаза. Он лучше, чем кто-либо, знал цену этому проявлению героизма и этой еще более героической выдумке... Но что-то сильнее его самого заставляло его молчать. Он только сделал знак своему спутнику – тот встал и, обратившись к Меро, неожиданно заявил:

– Ну так вот, ради сына этого героя я и пришел к вам... вместе с отцом Алфеем, капелланом иллирийского двора... Не хотите ли заняться воспитанием наследника?

– Там вас не ожидают ни дворец, ни роскошные кареты... ни царские милости двора***, – с печальным видом продолжал о. Алфей. – Вы будете служить у низложенных государей, их изгнание длится уже более года и грозит продлиться еще, и оттого все вокруг них полно уныния и одиночества... но зато вы найдете в нас единомышленников... У короля появились было либеральные замашки, но после своего несчастья он понял, что заблуждался. Ну, а королева... королева – существо необыкновенное... Вы ее увидите.

– Когда? – спросил фанатик, вновь загоревшись несбыточной мечтой создать проникнутого его идеями короля, как писатель создает художественное произведение.

И они тут же условились о встрече.

Когда Элизе Меро вспоминал свое детство, – а вспоминал он его часто, так как все самые сильные впечатления он получил именно тогда, – ему неизменно представлялось вот что: большая комната в три окна на солнечную сторону; у окон жаккардовые ткацкие станки; в их сплетенных крест-накрест и прикрепленных к высоким стержням ячеек, как сквозь подвижные шторы, мелькает сияющая даль, а вдали – беспорядочное нагромождение крыш, дома, один за другим ползущие на гору, во всех решительно окнах такие же точно станки, и у каждого станка сидят двое в одних жилетках и, точно играющие в четыре руки пианисты, сообразуют свои движения над утком. Меж домов не проулки – меж домов лепятся по косогорам садики, южные садики, чахлые, высохшие, душные, изобилующие масленосными растениями, тыквами с ползущими стеблями и высокими подсолнухами, тянущимися к свету, поворачивающими свои широко раскрытые венчики вслед за солнцем и полнящими воздух приторным запахом спеющих семян – тем запахом, который и по прошествии тридцати лет Элизе все еще ощущал при воспоминании о родной окраине. Над этим рабочим кварталом, тесным и жужжащим, как пчельник, высился каменистый холм, а на холме заброшенные ветряные мельницы, в прошлом – кормилицы города, не снесенные лишь во внимание к их многолетней службе и постепенно разрушавшиеся под действием ветра, солнца и едкой южной пыли, вздымали остовы крыльев, похожие на огромные сломанные реи. Древние мельницы блюли старинные нравы и предания. Весь этот пригород, именуемый Королевским заповедником, с давних пор населяли, да населяют и теперь, яркие роялисты. В каждой мастерской висел на стене в рамке портрет во вкусе сороковых годов; на портрете был изображен белокурый, румяный, пухлый человек с длинными подвитыми, напомаженными волосами, на локоны которого были искусно положены световые пятна, – жители предместья называли его просто *Хромой*. У отца Элизе над этим портретом висела другая рамка, поменьше, в которой на голубом листе писчей бумаги выделялась большая красная сургучная печать в виде креста Андрея Первозванного с надписью вокруг креста, состоявшей из двух слов: *Fides, spes*. Мастеру Меро, следившему за челноком, виден был портрет, и, когда он читал слова девиза: «Вера, надежда», его широкое скульптурное лицо, напоминавшее старинную, вычеканенную еще при Антонинах медаль, лицо, которому орлиный нос и округлые линии придавали сходство со столь дорогими его сердцу Бурбонами, от сильного волнения надувалось и багровело.

В голосе у мастера Меро, привыкшего покрывать грохот батанов, слышались удары и раскаты грома. Его жена представляла собой полную ему противоположность: робкая, незаметная, с молоком матери всосавшая такую покорность, которая превращает южанок старого закала в настоящих восточных рабынь, она взяла себе за правило упорно молчать. Вот в какой среде вырос Меро, хотя, впрочем, его держали не в такой строгости, как братьев, потому что он был последний и самый слабый. Вместо того чтобы с восьми лет засадить его за станок, ему предоставили некоторую свободу – а как эта милая свобода необходима

детям! – и он целыми днями носился по Заповеднику или играл в войну на холме, где стояли ветряные мельницы, – войну белых с красными, католиков с гугенотами. Кстати сказать, вражда между ними все еще не утихает в этой части Лангедока! Дети делились на два лагеря, каждый лагерь выбирал себе мельницу, ее осыпавшиеся камни служили детям снарядами. Начиналось со взаимных оскорблений, потом свистели пращи и завязывалась многочасовая гомерическая битва, оканчивавшаяся неизменно трагически: кровоточащей ссадиной на лбу у какого-нибудь десятилетнего мальчугана или же одной из тех ранок в шелковистой путанице волос, от которых на нежной детской коже остаются отметины на всю жизнь, как остались они у Элизе на виске и в углу рта.

Ох уж эти ветряные мельницы! Мать проклинала их от всего сердца, когда ее малыш под вечер возвращался домой – весь в крови и в изодранной одежде. Отец бранился только для вида, по привычке, чтобы в голосе у него не ржавел металл, а за столом заставлял сына подробно излагать весь ход сражения и называть фамилии участников.

– Толозан!.. Толозан!.. Стало быть, этот род еще не вымер!.. Ах негодяй! В тысяча восемьсот пятнадцатом году я взял его отца на мушку. Жаль, что не ухлопал.

За этим следовала длинная история на образном и грубом лангедокском наречии, не пощадившем ни одного французского слова, ни единого слога, действие же ее происходило в те времена, когда он, Мери, вступил в войска герцога Ангулемского, знаменитого полководца, святого человека...

Эти рассказы, которые отец разнообразил по вдохновению, Элизе слышал сто раз, и они оставили в его душе не менее глубокий след, чем камни с мельниц на его лице. Он жил роялистскими преданиями, а в преданиях день св. Генриха и 21 января числились поминательными днями; он с малолетства привык чтить государей-мучеников – словно облеченные епископской властью, они благословляли перед смертью народ; чтить бесстрашных государынь – ради победы правого дела они вскакивали на коней, за ними гнались, их предавали и в конце концов обнаруживали под закоптелой вьюшкой камина на каком-нибудь старом бретонском постоялом дворе. А чтобы несколько рассеять мрак, сгущавшийся в голове у мальчика от бесконечных повестей о бедствиях и изгнаниях, к воспоминаниям о славных днях старой Франции и об ее удалцах прибавлялись изречение о курице в горшке у каждого крестьянина и песня «Про Волокиту». О, то была «Марсельеза» Королевского заповедника! По воскресеньям, после вечерни, с большим трудом установив стол на склоне сада, семейство Мери обедало, как там говорят, «на вольном воздухе», в удушливой предзакатной атмосфере, когда от нагретой земли, от раскаленных стен пышет еще более сильным, еще более душным жаром, чем от палящего солнца, и старый житель окраины запевал своим знаменитым на весь околоток голосом:

Да здравствует Генрих Четвертый,
Да здравствует храбрый король!.. —

а весь Королевский заповедник тогда притихал. Слышны были только сухой треск ломавшихся от жары стеблей тростника, составлявшего живую изгородь сада, запоздалый стрекот кузнечика, да еще слышно было, как величаво плыла старинная роялистская песня, и в напеве ее звучал ритм паваны, приспособленный к неповоротливости штанов с буфами и юбок с фижмами.

Припев пели хором:

За здоровье короля все мы пьем!
С чистопробным Генрихом мы свое возьмем.
Он заботится о благе и твоём и моём.

Это «и твоим и моим», четко ритмизованное, фугированное, очень забавляло Элизе и его братьев: они это пели, толкаясь, пихаясь, за что неизменно получали от отца оплеуху, но песня из-за такой безделицы не прерывалась, — она лилась и среди колотушек, всхлипываний и смеха, как духовный гимн одержимых на могиле дьякона Париса.

Слово «король» было окружено особым ореолом не только в волшебных сказках и в «Истории для детей», оно не сходило с уст в доме Мери на каждом семейном празднике, — вот почему Элизе ощущал между королем и собой некую родственную близость. Чувство близости еще усиливали таинственные письма на тонкой бумаге, приходившие к обитателям Заповедника из Фросдорфа два-три раза в год: в письмах этих король просил свой народ запастись терпением... В такие дни мастер Мери с особой торжественностью пускал в ход свой челнок, а вечером, плотно затворив двери, принимался за чтение послания, представлявшего собой очередное слащавое воззвание, составленное в выражениях неясных, как надежда: «Французы! Они сами заблуждаются и вводят в заблуждение вас...» И все та же неизменная печать: *Fides, spes*. Бедняги! Чего-чего, а веры и надежды у них было вполне достаточно.

— Когда король вернется, я куплю себе хорошее кресло, — говорил мастер Мери. — Когда король вернется, мы переменим обои.

Позднее, после путешествия во Фросдорф, этот привычный оборот речи был заменен другим.

— Когда я имел честь видеть короля... — кстати и некстати говорил старик.

Этот чудак в самом деле совершил паломничество, потратив и время, и деньги, — а для простого рабочего то была жертва немалая, — и никогда ни один хаджи, вернувшись из Мекки, не пребывал в таком упоении, как он. Между тем свидание продолжалось недолго. Претендент сказал явившимся к нему верноподданным:

— А, это вы!..

Никто не в силах был ответить на это приветствие, особенно Мери: у него захватило дух от волнения, из-за слез он даже не разглядел как следует своего кумира. Только уже перед тем, как ему уезжать, государственный секретарь герцог д'Атис долго расспрашивал его о состоянии умов во Франции. Можно себе представить, что отвечал ему восторженный ткач, никогда не покидавший пределов Королевского заповедника.

— А, да что там! Пусть только наш Генрих поторопится... пусть только он как можно скорей приезжает... Мы жаждали его...

Герцог д'Атис, изъявив Мери горячую благодарность за столь добрые вести, неожиданно задал ему вопрос:

— У вас дети есть, Мери?

— У меня их трое, ваша светлость.

— Мальчики?

— Да... трое детей... — повторил старый ткач (надо заметить, что в тех краях девочки за детей не считаются).

— Хорошо... Я запишу... Когда час пробьет, государь о них вспомнит.

Тут его светлость достал записную книжку — и *чирик, чирик...* Это *чирик, чирик*, которым почтенный Мери выразил жест благодетеля, записывавшего имена трех его сыновей, составляло неотъемлемую часть рассказа, приобщенного к семейным преданиям, трогательным именно тем, что в них не полагалось опускать малейшую подробность. С тех пор, если заработки были плохи, скудные запасы подходили к концу, а между тем мать со страхом замечала, что муж ее стареет, ответом на ее робко выраженную тревогу за судьбу детей служило все то же *чирик, чирик*:

— Ну, ну, не вешай голову!.. Герцог д'Атис записал...

Неожиданно в старом ткаче проснулось отцовское самолюбие: два старших сына пошли вслед за ним по его тесному и узкому пути – вот почему он все свои надежды возложил на Элизе, с ним связал свою мечту о славе. Элизе отдали в учебное заведение, которое содержал Папель, один из испанских эмигрантов, наводнивших южные города Франции после капитуляции Марото. Помещалось оно в Мясном ряду, в сыром обветшалом доме около собора, о близком соседстве которого свидетельствовали позеленевшие окошечки и потрескавшиеся от сырости стены. Путь к школе сначала лежал мимо вереницы мясных лавок с решетками и крюками, мимо висевших на крюках огромных туш, вокруг которых вечно стояло отвратительное мушиное жужжание, а затем надо было пройти целую сеть узких улиц с красными и скользкими от мясных отбросов мостовыми. Когда Элизе впоследствии вспоминал это время, ему казалось, что его детство протекло в Средние века, а протекло оно под ферулой и под плетью злобного фанатика, в темном и грязном классе, где склонение латинских существительных шло под звон соборных колоколов – под звон то благостный, то гневный, низвергавшийся на своды старого храма, на его стены, на его ветвистый орнамент, на безобразные рыльца его водосточных труб. Коротышка Папель с широким лоснящимся лицом, в надвинутом на глаза грязном белом берете, прикрывавшем синюю вздутую жилу, которая пересекала ему лоб до самых бровей, напоминал карлика с картины Веласкеса, только без сверкающей туники и без того налета, который неумолимое время оставляет на красках. В довершение всего он был груб и жесток, но его широкая черепная коробка вмещала богатый запас мыслей, живую, блестящую энциклопедию знаний, запертую, если можно так выразиться, посреди лба на засов упрямого роялизма, который символизировало странное, непонятное вздутие жилы.

В городе поговаривали, что под именем Папеля скрывается другое, гораздо более известное имя одного из Дон-Карлосовых *cabecillas*⁵, знаменитого своим бесчеловечным способом вести войну и разнообразить орудия смерти. Отсюда было рукой подать до испанской границы, и постыдная слава Папеля могла быть для него опасна – вот почему он предпочитал жить под чужим именем. Что было достоверного во всей этой истории? Элизе несколько лет находился в непосредственной близости к своему учителю, он был его любимчиком, но он никогда не слышал от страшного карлика ни единого слова, не видел у него ни одного посетителя и ни единого письма, которые могли бы подтвердить эти подозрения. Когда ребенок вырос и окончил школу, когда стало совершенно ясно, что Королевский заповедник не дает простора для пожинания лавров, для получения дипломов и для утоления отцовского самолюбия, то зашла речь об отправке Элизе в Париж, и вот тут-то г-н Папель снабдил его рекомендательными письмами к главарям легитимистских партий – тяжелыми пакетами, которые были скреплены печатями в виде каких-то таинственных гербов: только это обстоятельство и указывало отчасти на достоверность легенды о переодетом *cabecilla*.

Старик Мери настаивал на отъезде сына – он находил, что король что-то уж очень мешкает. Он расшибся в лепешку, продал не только свои золотые часы и женино серебряное кольцо для ключей, но и виноградник, а между тем у каждого жителя окраины был свой виноградник, и все это он делал незаметно, самоотверженно, и все – ради той партии, к которой он принадлежал.

– Поезжай, погляди, что они там, – говорил он своему младшему сыну. – Чего они ждут? Наш Заповедник теряет терпение.

В Париж двадцатилетний Элизе Мери прибыл весь во власти своих пылких убеждений, – нерассуждающую преданность отца укрепил в нем воинствующий фанатизм испанца. Легитимисты встретили его как путешественника, который на одной из промежуточных станций садится ночью в спальный вагон, где все уже расположились ко сну. Новичок только

⁵ Cabecilla – буквально: главарь; здесь – в смысле приспешник (*исп.*).

что прошелся по морозному воздуху, это подействовало на него освежающе, и он входит в вагон с заразительным желанием двигаться, говорить, словом, продолжать бодрствовать в пути, и видит перед собой хмурых, заспанных пассажиров, накрывшихся шубами, убаюкиваемых стуком колес, спустивших на лампочках голубые абажуры, потных, разомлевших и оттого больше всего на свете боящихся, чтобы их не продуло и чтобы кто-нибудь их не потревожил. Такой вид имел при Империи легитимистский клан, но только вагон его был отцеплен и стоял на заброшенном пути.

Этот одержимый с черными глазами, с головой отощавшего льва, отекавший каждый слог, подчеркивавший жестом каждый период, обладавший неиссякаемым вдохновением Сюло и беззаветной храбростью Кадудала, вызвал у легитимистов изумление, смешанное со страхом. Его сочли беспокойным и опасным. В свою очередь, Элизе с присущей ему проницательностью, которая не изменяет уроженцам Юга Франции даже в разгар увлечений, под преувеличенной любезностью, под притворными знаками внимания, которых требовал хороший тон, скоро разглядел весь эгоизм и малодушие этих людей. Они утверждали, что сейчас ничего не следует делать; нужно ждать, а главное – нужно сохранять спокойствие, ибо нет ничего опаснее юношеской горячности и опрометчивости: «Берите пример с государя!..» Эта проповедь благоразумия и умеренности так хорошо гармонировала со старыми домами Сен-Жерменского предместья, зашитыми в плющ, глухими к уличному шуму, проконопаченными уютом и ленью, с массивными дверьми, отяжелевшими от груза веков и традиций! Его только из вежливости пригласили на два-три собрания, окружавшиеся непроницаемой тайной, происходившие в одном из этих гнездилищ злопамятства, и каких только опасений при этом не возникало, каких только предосторожностей не принималось! Он увидел там знаменитых участников вандейских боев и киберонской резни и попавших в скорбные списки *Поля мучеников*: то были добродушные старички, гладко выбритые, шившие себе платья из того добротного сукна, которое с давних пор облюбовали духовные лица; старички, отличавшиеся плавностью речи, приторность которой усиливалась оттого, что во рту у них всегда были отхаркивающие леденцы. Являлись они с видом заговорщиков, за которыми установлена слежка; на самом же деле эти платонические встречи только смешили полицию. При мягком свете больших свечей с колпачками идет игра в вист; склоненные над картами лысины блестят, как медали; кто-нибудь сообщает, что нового во Фросдорфе; игроки восхищаются неистощимым терпением изгнанников и призывают друг друга подражать им. Шепотом – тсс! тсс! – передают друг другу последний каламбур г-на де Барентена об императрице, мурлыкают песенку:

Когда придет Наполеон,
Он мигом весь ваш пыл утишит.
Штаны с вас живо спустит он
И плетью задницы распишет...

Но тут же, уstraшенные собственной дерзостью, заговорщики по одному выходят на широкую и безлюдную улицу Варен и, пугаясь шума своих шагов в гулкой ее тишине, крадутся вдоль стен.

Элизе увидел ясно, что для этих призраков старой Франции он слишком юн и слишком деятелен. Да к тому же еще то было время торжества Империи, время, когда по бульварам, под окнами, из которых свешивались флаги, печатали шаг войска, возвращавшиеся из итальянских походов, а над ними реяли целые стаи победоносных орлов. Наш провинциал легко мог убедиться, что у жителей Королевского заповедника единомышленников не слишком много и что возвращение законного короля последует далеко не так скоро, как там предполагали. Роялизм Элизе от этого не поколебался, но действовать оказалось невозможно, и

Элизе вознесся в умозрительную высь и ширь. Он задумал книгу, в которой ему хотелось выразить все, во что он верил, все, что он исповедовал, все, что ему не терпелось высказать и в чем он испытывал потребность убедить других, – высказать для того, чтобы покорить Париж. План у него был такой: жить уроками, и уроки он скоро нашел; писать книгу в промежутках между уроками, и вот на книгу потребовалось гораздо больше времени, чем на приискание заработка.

Как все южане, Элизе Мери шел от слова и от жеста. Идея являлась к нему внезапно, на звук его голоса, – так привлекает молнию дрожащий гул колокольного звона. Вскормленная чтением, фактами, неустанными раздумьями, мысль изливалась из его уст бурной волной звучного красноречия, и на этой волне одно слово неудержимо влекло за собой другое, но зато с его пера мысль стекала медленно, по капельке: сосуд был слишком велик, он не подходил для такой строго размеренной фильтрации и для стилистических тонкостей. Высказывать свои убеждения стало для Элизе насущной потребностью – иного способа распространять свои взгляды он не находил. И он говорил на собраниях, в харчевнях, но чаще всего – в кафе, в кафе Латинского квартала, а в Париже, придавленном Второй империей, когда и на книги, и на газеты был надет намордник, отдушиной служили только одни кафе. В каждой кабачке был свой оратор, свой великий человек. Тогда говорили так: «Уж на что молодец Пекиду из „Вольтера“, а Лармина из „Прокопа“ еще лучше». В самом деле: там собиралась вся образованная, красноречивая молодежь, и увлекалась она предметами возвышенными и вела блестящие политические и философские споры с еще большей страстностью, чем их когда-то вели в пивных Бонна и Гейдельберга.

В таких вот кузницах мысли, дымных и шумных, где лихо драли глотку и еще лише пили, самобытный ораторский дар долговязого гасконца, умевшего всегда быть в ударе, некурящего, хмелевшего без вина, его образная, резкая манера выражать мысли, так же давно вышедшие из моды, как фижмы или пудренные парики, и так же не соответствовавшие обстановке, в которой они высказывались, как не гармонирует какая-нибудь старинная вещь с современными парижскими безделушками, – этот его дар очень скоро доставил ему известность и слушателей. Когда на пороге переполненного, бурлившего кафе, при свете только что зажегшегося газа вырастала его длинная нескладная фигура и он, непременно держа под мышкой растрепанную книгу или журнал, откуда торчал огромный разрезной нож, слегка растерянно щурил свои близорукие глаза, а волосы у него топорщились и шляпа съезжала на затылок, казалось, именно оттого, что он напрягает зрение, – все вскакивали и кричали: «Мери пришел!» И все жались друг к другу, чтобы ему было просторнее, чтобы не стеснять его движений. Он сразу же приходил в волнение от этих криков, от приема, который ему устраивала молодежь, ну, а потом от жары и от света – от света газовых ламп, возбуждающего и опьяняющего... Он мог начать с чего угодно: с сегодняшней газеты или с книги, которая попала ему на глаза у Одеона, затем переходил на что-нибудь другое, то садился, то вскакивал, держал кафе в напряжении силою своего голоса, притягивал, собирал вокруг себя слушателей выразительностью жеста. Партии в домино прекращались, игроки на бильярде с трубками в зубах, с длинными, слоновой кости киями в руках перевешивались через перила лестницы, спускавшейся с антресолей. Стекла окон, кружки, блюда дрожали так, как будто мимо проезжала почтовая карета, а сидевшая за стойкой женщина с гордым видом говорила входившим: «Скорей, скорей!.. У нас Мери!» Уж на что были молодцы Пекиду и Лармина, а он и их забивал. Он стал знаменитостью квартала. Он не гнался за славой оратора, но она вполне его удовлетворяла, и он на этом успокоился. Такова была в то время участь многих Лармина: то ли из-за беспорядка, то ли по нерадению, то ли оттого, что руль повернут был не в ту сторону, но только рычаги и двигатели со страшным шумом выпускали бесполезный пар, и недюжинные силы растрачивались впустую. У Элизе дело обстояло еще сложнее: этот южанин, воспринявший у родного края только его горячность, свободный от тщеславных

побуждений, не прибегавший к интригам, смотрел на себя как на миссионера своей веры, и в самом деле, он обнаруживал все качества миссионера: неутомимый прозелитизм, независимый нрав, твердость духа и бескорыстие, в силу которого он жертвовал доходами случайными и постоянными, жертвовал даже жизнью, подвергая ее наигрознейшим опасностям, сопряженным с его призванием.



Разумеется, за те восемнадцать лет, в течение которых он бросал семена своих идей в умы парижской молодежи, многие из его слушателей достигли высокого положения, и теперь они уже с презрением говорили: «Кто? Меро?.. Ах да, этот вечный студент!» – однако блеском своей славы они были обязаны тем крохам, какие этот оригинал небрежно разбрасывал по всему столу, за который ему случалось присесть. Элизе это знал, и, когда он встречал какого-нибудь ученого сановника и под его зеленым сюртуком с «академическими пальмами» обнаруживал свою мечту, в красиво закругленной академической фразе державшуюся на прочных основаниях здравого смысла, он был счастлив бескорыстным счастьем отца, который, не имея никаких прав на ласку своих любимых дочерей, радуется тому, что они замужем и живут в довольстве. То было рыцарственное самоотречение старого ткача из Королевского заповедника, но только еще более глубокое, ибо у сына уже не было веры в успех – той несокрушимой веры, которой честный старик Меро не утратил до последнего вздоха. Еще за день до смерти – он умер почти внезапно, от солнечного удара, после обеда «на вольном воздухе» – старик распевал во все горло: «Да здравствует Генрих Четвертый!» Умирая, уже с затуманенным взором, он коснеющим языком в последний раз напомнил жене: «За детей не беспокойся: герцог д'Атис записал...» И слабеющей рукой попытался изобразить на простыне *чирик, чирик*.

Когда Элизе, слишком поздно узнавший о несчастье, поразившем его как громом, приехал утром из Парижа, отец, скрестив руки, неподвижный и изжелта-белый, лежал на кровати, стоявшей изголовьем к стене, которая так и не дождалась новых обоев. Смерть, проходя по дому, оставила дверь в мастерскую открытой, ибо смерть все вокруг себя раздвигает, высвобождает, расширяет, и отсюда видны были отдыхавшие станки и среди них покинутый станок отца – он напоминал рангоут севшего на мель корабля, на который никогда больше не подует ветер; еще были видны отсюда портрет короля и красная печать, направлявшие всю жизнь ткача, исполненную труда и чувства преданности, а там, на холме, в верхней части Королевского заповедника, старые мельницы, одна над другой, с глухим стуком воздевали в отчаянии руки к ясному небу. В памяти Элизе неизгладимо запечатлелось зрелище этой спокойной смерти, застигшей труженика в его жилище и навеки заслонившей от него знакомый вид, открывавшийся из окон. Элизе был неукротимым мечтателем, жаждавшим борьбы, стремившимся осуществить все, чем бредил отец, но сейчас он испытывал невольное чувство зависти к славному старику, уснувшему непробудным сном.

Как только он вернулся из печального путешествия, ему предложили место воспитателя при дворе ***. Однако разочарование его было так сильно, воронка мелких гадостей, происков, наветов зависти, в которую он был втянут, а равно и пышная декорация монархии, которую ему привелось увидеть вблизи, из-за кулис, столь удручающе на него подействовали, что теперь, едва монахи ушли и первая волна увлечения спала, он, несмотря на свое восхищение иллирийским королем, пожалел, что так скоро дал согласие. Он припоминал все

неприятности, которые у него там были, подумал о том, что придется пожертвовать своей свободой, своими привычками... А тут еще книга, пресловутая книга, замысел которой зрел у него в голове. Одним словом, после долгой внутренней борьбы он решил отказаться, и в Рождественский сочельник, перед самой встречей, уведомил о своем решении о. Мельхиора. Монах не стал возражать. Он только написал ему в ответ:

«Сегодня вечером, улица Фурно, за всенощной... Я еще не утратил надежды убедить Вас».

Францисканский монастырь на улице Фурно, где о. Мельхиор исполнял обязанности эконома, – это один из наиболее любопытных и в то же время наименее известных уголков католического Парижа. Сей оплот знаменитого ордена, таящийся за Монпарнассским вокзалом, в грязном предместье, именуется также Подворьем Гроба Господня. Сюда чернецы с экзотической внешностью, в дешевеньких дорожных рясах, еще усугубляющих общий вид вопиющей бедности, какой являет собою этот квартал, приносят на продажу святыни: кусочки подлинного Креста Господня, четки из косточек олив Гефсиманского сада, розы Иерихона, увядшие и засохшие, чающие окропления святой водой, – словом, всякую чудотворную всячину, которая в бездонных монашеских карманах превращается в денежки, а эти безгласные и полновесные денежки текут в Иерусалим на содержание Гроба Господня. Элизе впервые попал на улицу Фурно благодаря своему приятелю Дрё, бедному скульптору, который тогда только что закончил по заказу монастыря статую св. Маргариты Осунской и всем, кому не лень, показывал свою работу. Место было до того любопытное, до того живописное и до того оно отвечало мирозерцанию южанина, уводя его от современной трезвости в глубину веков, в мир преданий, что потом он туда зачастил, к великой радости своего приятеля скульптора Дрё, гордившегося успехом «Маргариты».

Было уже около полуночи, когда Элизе Мерио ради условленной встречи покинул роко-чущий Латинский квартал, где жарким закусочным, разукрашенным колбасным, съестным лавчонкам, пивным с женщинами, меблированным комнатам для студентов и всей мелочной продаже на улице Расина и на «Буль-Миш»⁶ предстояло до самого утра пламенеть и благоухать по случаю всесветного пира. Не постепенно, а вдруг объяла Элизе печаль пустынных улиц, где редкий прохожий, на которого падет свет от газового рожка, словно уменьшается в росте и как будто ползет, а не идет. Из-за стен монастырей, над которыми возвышались остовы деревьев, доносился жидкий колокольный звон; из огромных запертых скотных дворов исходили тепло и шуршанье соломы – тепло и шуршанье спящего хлева. Нападавший за день снег не таял – на широкой улице смутно белела его усеянная следами ног пелена, и сыну ткача, жившему мечтами, рожденными его пламенной верой, казалось, будто среди горевших в небесной вышине звезд, отточенных морозом, он узнает ту, что вела волхвов в Вифлеем. Глядя на эту звезду, он вспоминал Рождество прежних лет, белое Рождество своего детства, праздновавшееся в соборе, вспоминал возвращение по ночным, волшебным преображенным улицам Мясного ряда, с точно вырезанными в лунном свете кровлями, на окраину, в родной дом, где его ждал семейный праздничный ужин: традиционные три свечи в зелени остролиста, перевязанного пунцовой лентой, *эстефеноны* (рождественские хлебцы), приятно пахнущие горячим тестом и жареным салом. Элизе так углубился в воспоминания детства, что принял фонарь тряпичника, двигавшегося по тротуару, за тот самый фонарь, который покачивался в руке у старика Мерио, шедшего впереди своей семьи, возвращавшейся от всенощной.

Бедный отец! Элизе никогда больше его не увидит...

⁶ Бульваре Сен-Мишель.

Так, тихо беседуя с милыми призраками, Элизе очутился на улице Фурно, в еще мало застроенном пригороде, освещенном одним-единственным фонарем, с длинными фабричными зданиями, над которыми высились стройные трубы, с дощатыми заборами, с каменной оградой, сложенной из обломков. Ветер выл здесь с той яростью, с какой он всегда кружится над просторами окраины. С ближней бойни неся жалобный визг, глухие удары, позывающий на тошноту запах крови и жира – здесь, будто на празднестве в честь Тевтата, кололи свиней в жертву Рождеству.

Францисканский монастырь стоял посреди улицы; в проеме растворенных настежь монастырских ворот Мерио с удивлением увидел, что на дворе стоят экипажи с богатой упряжью. Служба началась. Всплески органа и пение порой долетали из безлюдной и темной церкви, освещаемой лишь светильниками алтаря и матовым отблеском зимней ночи, игравшим на фантасмагории витражей. То был почти круглый неф, убранство которого составляли прикрепленные к стенам большие иерусалимские хоругви с красными крестами и аляповатые раскрашенные статуи, среди которых мраморная Маргарита Осунская безжалостно бичевала свои белые плечи, ибо, как не без кокетства замечали монахи: «Маргарита была в нашем ордене великою грешницей». Потолок из расписного дерева, с косыми крестами поперечных балок, престол в главном приделе под чем-то вроде балдахина, который поддерживали колонны, расположенный полукругом пустой клирос с деревянными сиденьями, развернутые ноты, по которым скользил лунный луч, – все это не различалось явственно, а лишь угадывалось. По широкой лестнице, устроенной под клиросом, вы спускались в подземную церковь, где – вероятно, в память катакомб – и совершалось богослужение.

В самом конце подземелья, под белым каменным навесом, державшимся на громадных романских колоннах, был воссоздан Гроб Господень в Иерусалиме: такая же низенькая дверца и такой же узкий склеп, где множество лампад из глубины своих каменных лунок бросало мерцающий свет на Христа, сделанного из раскрашенного воска, в человеческий рост, с кровоточащими язвами ярко-розового цвета, видными там, где загибался покров. В противоположном конце подземелья, как некая странная антитеза, заключавшая в себе весь смысл христианской эпопеи, находилось детски наивное изображение Рождества: эти ясли, животные, младенец, увитые нежных тонов цветами и зеленью из гофрированной бумаги, ежегодно вынимаются из ящика легенд такими, какими их сотворила когда-то фантазия некоего духовидца, с той разницей, что у него они вышли грубее, зато гораздо больших размеров. Как и в былые времена, вокруг яслей теснились дети и старухи, жаждавшие умиления, жаждавшие чуда, теснились бедняки, которых так любил Иисус, и среди них, в первом ряду обездоленных верующих, Элизе, к своему изумлению, заметил двух великосветского вида мужчин, двух элегантных, одетых во все черное женщин, благоговейно преклонивших колена на голом полу, и мальчика, которого одна из этих женщин обвила руками, скрестив их у него на груди: она как бы защищала мальчика и в то же время молилась за него.

– Это королевы! – прерывающимся от восторга шепотом сказала Элизе одна из старух.

Элизе вздрогнул. Он приблизился к молящимся и по тонкому профилю и аристократическим манерам сразу узнал Христиана Иллирийского, а по костистой черноволосой голове и еще молодому открытому лбу – стоявшего рядом с ним палермского короля. У одной из женщин видны были только ее черные волосы, у другой – волосы русые и поза боготворящей матери. Ах, как хорошо знал этот хитрый иеромонах его, Элизе Мерио! Как удачно он, если можно так выразиться, инсценировал первое свидание малолетнего наследника и его будущего воспитателя! Свергнутые короли, пришедшие поклониться Богу, который, для того чтобы выслушать их моления, тоже как будто должен был прятаться в подземелье; сочетание низложенного королевского величия и религии в упадке; печальная звезда изгнания, приведшая в Вифлеем парижского предместья жалких, оскудевших волхвов, явившихся без свиты и с пустыми руками, – все это надрывало душу Элизе Мерио. Но особенно – особенно ребен-

нок, с трогательным, чисто детским любопытством, умерявшимся болезненной сдержанностью, повернувший головку к животным у яслей... Глядя на эту шестилетнюю головку, в которой будущее уже дремало, точно бабочка в белом коконе, Элизе подумал о том, сколько потребуется знаний и нежных забот для того, чтобы это будущее расцвело пышным цветом.

III

Двор в Сен-Мандэ

Временное проживание в гостинице «Пирамиды» длится три месяца, длится шесть месяцев, вещи из чемоданов до сих пор как следует не разобраны, саки не расстегнуты, всюду беспорядок, во всем сквозит та неуверенность, какую бывает полна жизнь на стойбищах. Из Иллирии ежедневно приходят радостные вести. Будто бы лишенная корней, не имеющая ни прошлого, ни своих героев, республика не принимается на новой почве. Народ устал, он якобы уже сожалеет о своих государях, безошибочно верный расчет подсказывает изгнанникам: «Будьте наготове... Не нынче – завтра...» Каждый гвоздь вбивается, каждая вещь переставляется со словами, проникнутыми верой в будущее: «Это мы уже напрасно».

А изгнание между тем продолжалось, и королева скоро почувствовала, что пребывание в гостинице, в этом водовороте иностранцев, на этой остановке перелетных птиц всевозможных пород, роняет их королевское достоинство. Наконец они снялись с лагеря, купили себе дом, расположились. Из кочевого изгнание превратилось в оседлое.

Поселились они в Сен-Мандэ, на авеню Домениля, идущей параллельно улице Эрбильона; эта часть авеню тянется вдоль леса, по обеим ее сторонам – изящной архитектуры дома и кокетливые решетки, сквозь которые видны усыпанные песком дорожки, круглое крыльцо и английский газон: все это очень похоже на авеню Булонского леса. В одном из таких особняков уже укрылись палермский король с королевой: люди небогатые, они сочли за благо быть как можно дальше от роскошных кварталов и от соблазнов *high-lif'a*. Герцогиня Малинская, сестра палермской королевы, поселилась тоже в Сен-Мандэ, и им обоим не составило большого труда уговорить кузину последовать их примеру. Фредерику тянуло к подругам, а кроме того, ей хотелось стоять в стороне от развлечений веселящегося Парижа, хотелось выразить молчаливый протест против нынешнего света, против благосостояния Французской республики, хотелось избежать любопытства, которое преследует людей известных и которое она теперь воспринимала как издевательство над ее падением. Король сначала возражал – уж очень далеко они забираются, но потом усмотрел в дальности расстояния благовидный предлог для долгих отлучек и поздних возвращений. И, наконец, самое главное: жизнь здесь была дешевле, здесь можно было многое себе позволить без особых затрат.

Разместились со всеми удобствами. Белый четырехэтажный дом с башенками по бокам был обращен лицевой стороной к лесу, проглядывавшему меж деревьев небольшого сада, а широкий, круглый, обстроенный службами и оранжереями двор, усыпанный песком до самого крыльца под навесом в виде шатра, поддерживаемого двумя длинными наклоненными копиями, выходил на улицу Эрбильона. Десять лошадей в конюшне, упряжных и верховых (королева каждый день ездила верхом); ливреи иллирийских национальных цветов и пудренные букли париков у прислуги, а равно и алебарда, и зеленая с золотом перевязь швейцара, сделавшиеся в Сен-Мандэ и Венсене не менее легендарными, чем деревяшка старика Домениля, – все это носило на себе печать ничем не оскорблявшей глаза, еще не вылинявшей роскоши. В самом деле, не прошло и года, как Том Льюис при помощи всей этой декорации и бутафории воздвиг по вдохновению придворную сцену, на которой и разыгрывается излагаемая нами историческая драма.

Да, да, увы – Том Льюис... Преодолевая недоверие, преодолевая отвращение, пришлось-таки обратиться к нему. Этот карапуз отличался цепкостью и гибкостью необычайной. В запасе у него было столько разных хитроумных приспособлений, столько всяких ключей и отмычек, чтобы открывать и взламывать неподатливые запоры, не считая ему одному известных способов покорять сердца поставщиков, лакеев и горничных! «Только

не Том Льюис!» – так обыкновенно говорили вначале. И все не ладилось. Поставщики не доставляли вовремя товаров, прислуга бунтовала, и так продолжалось до тех пор, пока наконец к вам не подъезжал в кебе человек в золотых очках и с брелоками на груди, и тогда ткани сами собой развешивались по стенам, стлались по паркету, сшивались, превращались в портьеры, занавески, гобелены, ковры. Нагревались калориферы, в оранжереях расцветали камелии, и владельцам, в одну минуту устроившимся на новом месте, оставалось только жить да радоваться и, сидя в покойных креслах, поджидать накладных со всех концов Парижа. На улице Эрбильона принимал счета, платил прислуге, распоряжался небольшим состоянием короля начальник его гражданской и военной свиты старик Розен, и распоряжался так удачно, что Христиан и Фредерика могли пока еще жить широко: их невзгода была оправлена в золото. К тому же король и королева, оба – королевские дети, не знали счета деньгам; они привыкли видеть свои изображения на золотых монетах, привыкли чеканить монеты в любом количестве, – вот почему это благоденствие их нисколько не удивляло, напротив: помимо холода пустоты, который оставляет на голове упавшая корона, они остро чувствовали малейшие изъязны своей новой жизни. Пусть неказистый снаружи, дом в Сен-Мандэ внутри был преобразен в маленький дворец; пусть комната королевы с мебелью, обитой голубым шелком и украшенной старинным брюгтским кружевом, в точности напоминала ее комнату в Любляне; пусть кабинет государя представлял собой копию того, который ему пришлось покинуть; пусть на лестнице стояли слепки со статуй, составлявших гордость королевской резиденции в Иллирии, а в оранжерее был устроен для уистити, которых любил Христиан, теплый, увитый глициниями обезьянник. Что значила вся эта проявлявшаяся теперь только в мелочах тонкая предупредительность для бывших владельцев четырех исторических замков и летних дворцов у самого моря, на зеленых островах, именуемых «садами Адриатики», где волны доплескивались до самой садовой ограды?

В Сен-Мандэ Адриатическое море уменьшилось до размеров лесного озера, на которое Фредерика печально смотрела из окна своей комнаты, как смотрела лишившаяся отчизны Андромаха на поддельный Симоис. Впрочем, несмотря на все ограничения, Христиан, более опытный, чем Фредерика, иной раз не мог не подивиться их относительному благополучию:

– Наш герцог – поразительный человек... Право, я не могу понять, как это он так ухитряется, что при наших скромных средствах у нас все есть. – И прибавлял со смехом: – Одно можно сказать с уверенностью, что своих он не докладывает.

Дело в том, что в Иллирии имя Розен стало синонимом Гарпагона. Репутация скряги преследовала герцога и в Париже и нашла себе здесь лишнее подтверждение в женитьбе его сына, которому высватали невесту специальные агентства: брак этот, несмотря на всю милость маленькой Совадон, расценивался не иначе как брак неравный, брак по расчету. Между тем Розен был богат. Старый пандур, о разбойничьих, грабительских инстинктах которого красноречиво говорил его профиль, напоминавший профиль хищной птицы, воевал с турками и черногорцами не для одной лишь славы. После каждого похода его фуры возвращались с кладью – вот почему его великолепный особняк на стрелке острова Св. Людовика, совсем рядом с Домом Ламбера, был битком набит дорогими вещами: восточными коврами, средневековой утварью и оружием, трехстворчатыми складнями из чистого золота, скульптурами, ковчежцами, тканями шелковыми и парчовыми – словом, добычей, некогда захваченной в монастырях и гаремах и теперь загромождавшей анфиладу громадных приемных зал, двери которых Розен распахнул всего один раз – в день свадьбы Герберта, в день этого сказочно пышного празднества, устроенного на счет дядюшки Совадона, а потом опять запер, и, погруженные во мрак, залы по-прежнему хранили свои сокровища за спущенными шторами и запертыми ставнями, так что им не грозила даже нескромность солнечного луча. Чудак-хозяин, как настоящий маньяк, занимал в своем огромном особняке всего один этаж

и довольствовался услугами только двух лакеев, — он и в Париже установил для себя строй жизни скупца-провинциала, — а между тем в подвальном этаже обширные кухни с неподвижными вертелами и давно остывшими печами были так же наглухо заперты, как и парадные комнаты.

Назначение всех Розенов на должности при малочисленном дворе прибывших в Париж государей вынудило старого герцога несколько изменить привычный уклад. Началось с того, что молодые супруги переехали к нему, — от их помещения в парке Монсо, этой настоящей золоченой клетки, но только устроенной на современный лад, было очень далеко до Венсена. При любой погоде в девять часов утра, когда еще совсем темно от речного тумана, застилающего стрелку зимой и летом до самого полудня, подобно занавесу, за которым скрывается волшебная декорация Сены, княгиня Колетта, чтобы поспеть к утреннему выходу королевы, садилась в карету рядом с генералом. В этот час Герберт пытался хоть немного вздремнуть после тяжелой ночной службы при короле Христиане: король Христиан в течение десяти лет вел жизнь провинциала, обязанного возвращаться в лоно семьи не позднее строго определенного часа, и теперь ему хотелось наверстать упущенное, — он уже не мог обойтись без ночного Парижа, для него была особая прелесть в том, чтобы, выйдя из клуба в такое время, когда все театры и кафе закрыты, побродить по безлюдным бульварам, гулким и сухим или же блестящим от дождя, с их шеренгой фонарей, точно световой караул, выстроившихся во всю длину перспективы.

В Сен-Мандэ Колетта шла прямо к королеве. Герцог между тем отправлялся в примыкавший к службам флигель, где он отдавал распоряжения прислуге и вел переговоры с поставщиками. Трогательное впечатление производил этот высокий старик в своем так называемом интендантстве: заваленный бумагами, регистраторами, зелеными папками, сидя в молескиновом кресле, он платил по мелким счетам за всякую всячину, и это он, он, к услугам которого в королевском дворце была когда-то целая армия привратников в мундирах с галунами! Скупость герцога доходила до того, что каждый раз, когда он вынужден был платить деньги, хотя бы и не свои, лицо его кривилось, кожа нервно собиралась складками, точно ее стягивал пропущенный сквозь нее шнурок, и вся его прямая, негнувшаяся фигура выражала возмущение, проявлявшееся даже в том машинальном движении, каким он отпирал несгораемую кассу. Впрочем, он всегда был наготове, он всегда как-то умудрялся из скромных средств иллирийских государей покрыть перерасход, неизбежный при большом хозяйстве, покрыть благотворительность королевы и широту натуры короля, покрыть даже составлявшие особую статью бюджета его удовольствия, ибо Христиан II сдержал свое слово и весело проводил время изгнания. Тонкий насмешливый профиль этого постоянного посетителя парижских празднеств, принятого в высших кругах, желанного гостя салонов, профиль, замелькавший в веселой толкотне театральных лож и в шумном потоке людей, возвращавшихся со скачек, скоро поместился в галерее лиц, известных «всему Парижу», рядом со смелой прической модной актрисы и искаженными чертами бедствующего наследного принца, таскавшегося по бульварным кафе в ожидании, когда же наконец пробьет час его вступления на престол. Христиан вел праздную и насыщенную жизнь представителя золотой молодежи. После полудня — игра в мяч или ролики, потом Булонский лес, в сумерки он в каком-нибудь шикарном будуаре, который особенно прельщал его своей роскошью, а также тем, что там можно было совсем не стесняться в выражениях; вечером — театры легкого жанра, танцы, клуб, а главное — картеж: в любви к азарту и связанным с ним сильным ощущениям, по-видимому, сказывались текшая в жилах Христиана цыганская кровь. Он почти никогда не выезжал вместе с королевой, за исключением воскресных дней, когда ездил с ней в церковь Омовения ног; виделись супруги лишь за обеденным столом. Он боялся ее уравновешенной, трезвой натуры, преисполненной сознанием долга; ее презрительная холодность

стесняла его, как воплощенная совесть. Она без слов взывала к его королевским обязанностям, к его самолюбию, ко все-

му, о чем он хотел бы забыть. Он был слишком слаб для того, чтобы открыто восстать против этого молчаливого насилия, и оттого предпочитал убегать, лгать, уваливать. Что же касается Фредерики, то она хорошо изучила нрав этого пылкого и слабовольного, впечатлительного и неустойчивого славянина. Этому взрослому ребенку, сохранившему в себе так много детского: не только чисто детское обаяние, детский смех, но и детскую жестокость в капризах, она столько раз прощала его заблуждения! Он так часто стоял перед ней на коленях после очередного проступка, он так часто играл ее счастьем и ее достоинством, и если она все еще верила в Христиана как в короля, то уже как в супруге и как в мужчине она разочаровалась в нем окончательно. И нелады эти длились уже лет десять, хотя Христиан и Фредерика и сейчас еще производили впечатление дружной пары. На вершине благополучия, в огромном дворце, при многочисленной прислуге, при этикете, увеличивающем расстояние и подавляющем чувства, такая ложь еще возможна. Но изгнание рано или поздно должно было обличить ее.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.